



*Навет Филлине*

**ЛИНИЯ ЖИЗНИ**

©



ПАВЕЛ НИЛИН

# ЛИНИЯ ЖИЗНИ

РАССКАЗЫ

МОСКВА  
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
1942



## ПЕРВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ

В первые лейтенант Тимаковский, как он сам говорит, увидел нынешнюю войну с перекрестка проселочной дороги, около мирного украинского села.

Впрочем, никакой другой войны он раньше и не видел.

В этом месяце ему пошел двадцатый год, а в конце прошлого месяца он окончил артиллерийское училище и получил звание лейтенанта.

Вначале он хотел поехать в Винницу к матери, с которой не виделся около двух лет.

Хотелось пройтись по улицам родного города, показаться знакомым девушкам и парням в командирской форме.

Но тут неожиданно началась война и лейтенанта послали в полк.

А полк этот снялся уже со старого места и продвигался где-то далеко по дорогам войны.

Лейтенант догонял его сначала поездом, потом пересел в автомобиль.

В пути лейтенанта застала ночь. И вот ночью с перекрестка проселочной дороги он впервые увидел войну.

Впереди полыхали пожары, взрывались авиационные бомбы, грохотали пушки, и в темном небе тревожно вспыхивали разноцветные ракеты.

Лейтенант знал, что все это будет, и готовился к этому. Но война открылась перед ним все-таки внезапно. И, как в детстве на деревенском пожаре, его охватило смутное чувство оторопи, нетерпения и ярости.

Он недолго стоял на перекрестке, смотрел вперед. Потом поехал дальше.

На рассвете он догнал свою часть. Она двигалась на тракторах по полевой дороге, везла тяжелые орудия, и ее сопровождало огромное облако пыли.

Вероятно, в иное время новенького лейтенанта встретили бы в части совсем по-другому: стали бы расспрашивать об училище, где он воспитывался, о столичном городе, из которого он уехал всего два дня назад и где многие не бывали никогда. Но сейчас было не до разговоров: немец перешел границу.

Лейтенанту наскоро объяснили, где его взвод, которым он должен командовать, где его орудия и тягачи. И дальше надо было ждать боевых приказов.

Над Украиной вставало ясное, веселое утро. Лейтенант сидел на тягаче, смотрел по сторонам, и события истекшей ночи представлялись ему, как во сне.

При свете солнца, разбудившего в кустарнике певчих птиц, лейтенант никак не мог поверить, что война уже началась и что он на войне.

Похоже было, что они едут на учебные стрельбы, как ездили в прошлом году по таким же дорогам. И также пели птицы, и также поднималось солнце.

Во взвод лейтенанта входили русские, узбеки, украинцы и грузины. Все это были такие же молодые парни, как он. А некоторые даже старше его. Но он был среди них самый авторитетный. Он должен был быть самым авторитетным. Он их командир. И каждое слово его они должны выполнять немедленно.

А какие это будут слова? Лейтенант еще не знал. Он приглядывался исподлобья к красноармейцам своего взвода и старался понять их характеры.

Вот наводчик Пыхтин — остроглазый, как будто ма что-то сердитый, двадцатилетний паренек.

Вот наводчик Галат — чуть медлительный, спокойный и молчаливый.

Вот командир орудия Холошвили. У него властное лицо, нахмуренные брови, и выглядит он старше своих двадцати двух лет.

А водитель трактора Давыдов сидит у руля с таким лицом, как будто пашет землю. Лицо у него простодушное, ребячье.

Неизвестно, как эти люди будут воевать. И неизвестно, как ими будет командовать лейтенант Тимаковский.

По дороге батарея попала под огонь бомбардировщиков. Было приказано увеличить скорость тракторов и непрерывно двигаться под огнем противника.

Взвод лейтенанта Тимаковского шел впереди всех. И

лица у бойцов и командиров были такие же, как час назад.

Правда, у некоторых сквозь густую пыль, облепившую лица, проступала бледность. Но, может быть, они просто еще не успели загореть.

В чистом небе кружили тяжелые самолеты.

Лейтенант Тимаковский изредка поглядывал на них, потом на лица красноармейцев из своего взвода и очень хотел бы посмотреть в зеркало на свое лицо.

Интересно, как он выглядит в эту минуту? Может, в глазах у него застыл испуг. Ведь он первый раз в жизни видит над собой вражеские бомбардировщики. И первый раз слышит и видит, как совсем недалеко от него рвутся бомбы.

Но тракторы все увеличивают и увеличивают скорость.

Вечером батарея, благополучно вышедшая из-под обстрела бомбардировщиков, заняла боевую позицию и вскоре открыла заградительный огонь против немецкой пехоты. Потом перенесла огонь прямо на немецкую пехоту.

Наша пехота пошла в контр-атаку. Пушки лейтенанта Тимаковского поддерживали ее.

Это были первые, по-настоящему боевые выстрелы в жизни лейтенанта.

Но война все еще не доходила до его сознания всей своей реальностью, и, по собственному его признанию, он чувствовал себя, как на ученьи. И, как на ученьи, волновался, стараясь стрелять не на «хорошо», а на «отлично».

Он все еще чувствовал за спиной своей строгих учителей, которые не прощали ни одной ошибки.

Вскоре доложили, что недалеко прорвались немецкие танки.

Батарея отошла километра на два и укрепилась у хутора на высотах.

Через некоторое время опять доложили, что танки пошли правее.

Батарею пришлось передвинуть еще на три километра. На этот раз она укрепилась на высотах у шоссе.

Наступила ночь. Шестая ночь войны.

Где-то вдалеке, в темноте, чуть слышно тархтели немецкие танки, и во взводе лейтенанта Тимаковского явственно почувствовалось всеобщее нетерпение. Ну где же они? Пусть подходят скорее.

Ждать — это самое трудное.

Наконец с высоты стало видно, как ползут по равнине железные чудовища. Были видны крошечные движущиеся огоньки. Было слышно, как гремят, как лязгают гусеницы на ходу.

Но открывать огонь из пушек было еще рано.

Лейтенант оправил приятно скрипящие новые ремни на своей гимнастерке, поправил беленькую крахмальную полосу под воротником и, подтянув уже запыхавшиеся, первый раз в жизни по ноге сшитые командирские сапоги, прошелся еще раз вдоль орудий.

Всем видом своим он показывал, что ему совершенно все равно, когда подойдут танки. Как будто бы каждый день он отражает танковые атаки и это занятие давно знакомо и привычно ему.

Неожиданно доложили, что в соседней роще, в пяти километрах от батареи, скопилась немецкая пехота.

Лейтенант приказал бить по роще. Артиллерия била по роще минут двадцать.

А немецкие танки уже шли прямо на батарею.

Батарею и танки разделяло расстояние меньше трех километров.

Во взводе началось легкое беспокойство.

— Разрешите обратиться, товарищ лейтенант, — сказал боец Золотов. — Ихние танки подходят.

— Я вижу, — сказал лейтенант.

И после этого артиллерия еще минут пять била по роще.

Пять минут спустя было приказано приготовиться к отражению танков.

Они уже были в километре от батареи, когда лейтенант приказал выпустить по ним первый снаряд. Потом второй, третий...

Эти снаряды попали в цель, но на немцев они, видимо, не произвели никакого впечатления.

Немецкие танки продолжали без единого выстрела продвигаться на батарею. Они подошли на восемьсот метров и только тогда открыли огонь.

Лейтенант Тимаковский впервые в жизни услышал визг неприятельских снарядов.

Правда, первые восемь не разорвались. Разорвался девятый. Но взрыв его показался оглушительным.

Вокруг батареи гигантским веером поднялась земля. Запахло гарью, и еще сильнее запахло землей.

Жирная земля Украины пахнет хлебом, здоровьем и молодостью. И защищали ее молодые люди. Им не надо было объяснять, за что они воюют. Их не надо было накачивать спиртом, чтобы они шли в бой. Родная земля внушала им храбрость.

В грохоте выстрелов, в едком дыму лейтенант впервые ощутил всю реальность войны.

На батарею шел упорный и сильный враг.

Опасно недооценить силу врага, но еще более опасно преувеличить его силу.

Испытанная на поляках и французах тактика боя, рассчитанная на испуг противника, применялась немцами и в этой атаке. Танки шли вперед и вперед, и неуклонный ход их мог бы внушить отчаяние.

— Пугают! — крикнул лейтенант, как будто только что угадал прием противника и придумал способ победить его. — Пугают! Но мы же не французские беженцы.

В это время артиллерийский снаряд угодил в башню танка, и башня слетела, как крышка с чайника. Танк остановился. Потом остановился второй танк, третий.

Надо, оказывается, не просто попасть в машину.

Надо попасть в наиболее уязвимое ее место.

Надо спокойно стрелять.

Лейтенант это знал и раньше. Но ему показалось, что он понял это только сейчас. Видимо, вместе с лейтенантом это поняли и бойцы и командиры орудий.

Наводчики Пыхтин и Галат стали работать как будто медленнее, хотя град снарядов летел на батарею попрежнему.

А командир орудия Казаров, кричавший в первые минуты и ненужно размахивавший руками, стал спокойнее и сосредоточенней. И когда лейтенант призвал к спокойствию, все уже шло и так спокойно, будто люди сообща выполняли простую и только очень трудную работу.

Работа эта проходила в грохоте, в дыму, в смерче огня и пыли.

Противник продолжал наступать.

Первым упал узбек Кадиров, раненный в плечо. Перевязанного, его унесли в машину, но лейтенант, занятый стрельбой, все-таки успел сказать ему какие-то добрые слова.

Через минуту упал Закиров.

Упал и умер. И лейтенант ничего не успел сказать ему. И понял, что говорить ничего и не надо, хотя эта смерть товарища была первой в жизни лейтенанта Тимаковского. И не надо думать о смерти, когда идет бой. Надо стрелять.

А немецкие танки все напирали.

У одного тягача разбило снарядом корпус, у другого оторвало колесо.

Война не только силы и техники, но, прежде всего, война нервов продолжалась с неугасающей яростью, и надо было доказать, что нервы защитников собственной земли значительно крепче нервов противника.

В этом бою это было доказано.

Лейтенант Тимаковский, раненный, обожженный, измазанный землей и сажей, вынес из боя несколько необходимых выводов о тактике врага. Но главное, что он вынес из боя, будет ему еще более необходимо для многих дальнейших боев.

Он понял, что война, если смотреть на нее со стороны, хотя бы с перекрестка проселочной дороги, выглядит значительно страшнее, чем она есть на самом деле. В войне надо участвовать, чтобы она не казалась страшной.

Эти строки были написаны на Юго-западном фронте в июне 1941 года. А сейчас Тимаковский, в звании капитана, воюет на Западном фронте.

## ЛИНИЯ ЖИЗНИ

...На наших глазах умирали товарищи,  
По-русски рубаху рванув на груди.

К. С и м о н о в

Поздно вечером 16 октября 1941 года Митя Попов узнал, что его наконец отправляют на фронт. Он попросил разрешения отлучиться из казармы на три часа и рано утром пошел попрощаться с бабушкой, вдвоем с которой они прожили все эти пятнадцать лет в маленькой комнатке в Звонарском переулке.

Был шестой час утра. На улицах Москвы по-осеннему еще было темно, холодновато и влажно, и по темному небу еще бродили голубые лучи прожекторов, всю ночь охранявшие московское небо.

Митя шел по Арбату и все время поглядывал на небо, где лучи то скрещивались, то расходились, то снова скрещивались. Они торопливо искали кого-то. Наконец нашли.

Митя остановился на углу Никитского бульвара.

В голубом луче возникла чуть заметная, молочного цвета, точка, и сейчас же загремели, застучали зенитки, озаря темное небо огненными пятнами разрывов.

Но заунывного голоса сирены в это утро не было слышно.

Впрочем, теперь уж и заунывный голос сирен, извещавший о воздушной тревоге, не сильно волновал москвичей. Привыкли. Ко всему можно привыкнуть...

Митя Попов, минуты две посмотрев на небо, медленно побрел через площадь.

И тут его чуть не сшиб огромный грузовик, доверху заваленный узлами и набитый пассажирами.

Митя сердито проводил его глазами и перешел на тротуар, по которому необычно для раннего часа спешили по-особенному озабоченные пешеходы.

Москва, казалось, и не засыпала в эту ночь, взволнованная тревожными сведениями с фронта. По радио еще вчера объявили, что положение наших войск ухудшилось, что немец прорвал линию нашей обороны и озверело рвется к Москве.

Митя вернулся на трамвайную остановку и, схватившись за поручни уже тронувшегося трамвая, повис, как и десяток пассажиров, на подножке.

Через минуту, однако, он стал пробираться в вагон.

В трамвае в это утро, несмотря на тесноту, несмотря на страшную давку, никто все-таки не ссорился. Никто не советовал соседу пересесть в такси, ежели он такой важный. Никто не осуждал соседку за то, что она накрашила губы. Все, будто сговорившись, молчали. И в трамвае стояла необычная, невыразимо грустная тишина.

Большое горе обрушилось на плечи народа и разом притушило все мелкие, домашние ссоры. Надо было думать о главном. Надо было во что бы то ни стало остановить немца. Во что бы то ни стало. Или...

У Трубной площади Митя, зажатый со всех сторон пассажирами, с трудом выпрямил свое крупное тело, протиснулся на переднюю площадку и вышел из вагона. Пошел по Неглинной, потом свернул налево, в Звонарский переулок.

Из узкого горбатого переулка с горы катился, грохоча, навстречу ему тяжелый грузовик.

Митя вошел в подъезд, где в глубине над лестницей горела синяя, бессонная лампочка и лежали мешки и мешочки с песком. Песком в Москве тушили зажигательные бомбы. Все напоминало о войне. Митя просунул в скважину ключ, открыл входную дверь и, удивленный тишиной после уличного грохота, вступил в полутемный и длинный коридор.

В пустынном этом коридоре лет десять еще или двенадцать назад он по утрам скакал верхом на палке, воображая себя неустрашимым наездником, и мешал спать соседу-бухгалтеру, утверждавшему в гневе, что из мальчика этого, вот посмотрите, обязательно вырастет разбойник-конокрад или, в лучшем случае, ломовой извозчик. И в этот час, когда Митя Попов, не ставший ни извозчиком, ни конокрадом, шел по темному коридору, бухгалтер, истомленный ночными тревогами, наверное, так же спал, как и много лет назад в этот час.

А Митя пришел прощаться. Кто знает, может быть, он идет по этому коридору последний раз.

Выключатель был у самых дверей комнаты. Митя нащупал его впотьмах, и над столом зажглась маленькая лампочка.

Бабушка сейчас же проснулась. Увидев Митю, она поспешно выпростала ноги из-под одеяла и, как была в байковом капоте, заторопилась, забегала, как мышь.

— Не бегай, бабушка, — хмуро попросил Митя. — Я все равно чай пить не буду. Я пришел попрощаться.

— Уезжаешь, значит? Птенчик ты мой ясный.

Бабушка вздохнула, заглянула снизу вверх в серые его глаза:

— А далеко уезжаешь-то, Митенька?

— Обыкновенно, на войну. Куда все...

— Ну, где там все, — возразила бабушка и сразу зататорила: — Вон из седьмой-то квартиры жильцы все целиком уезжают, полным семейством, в Ташкент. И из пятой Жиличка тоже уезжает...

— Ну, это меня не касается, — опять хмуро сказал Митя. Он стоял посреди маленькой комнаты, высокий, даже выше, чем был, как показалось бабушке, и невеселый.

Потом он снял со стриженной головы пилотку, сбросил на сундук шинель и, выдвинув нижний ящик шкапа, принялся рыться в нем.

Бабушка все-таки побежала на кухню, поставила чайник на плитку и, вернувшись в комнату, присела на корточки около внука, стоявшего перед шкапом на коленях.

— Значит, Митенька, тебе и ружье дадут?

— Ну, а как же, раз я минометчик.

— Кто?

— Минометчик.

— А, — удовлетворенно сказала бабушка. — Значит, при кухне будешь находиться?

— Зачем при кухне, — вдруг обиделся Митя. — Я же тебе объясняю: я — минометчик. Значит, я буду у миномета.

— А... Ну, это тоже ничего. Лишь бы в тепле.

Не понятно, почему ей казалось, что у миномета будет обязательно тепло. Но Митя не стал разочаровывать ее, хотя уже довольно хорошо представлял себе, как будет тепло у миномета.

Бабушка устала сидеть на корточках. Она отошла от внука и принялась расставлять на столе посуду.

— А правда, Митя, говорят, будто ихний главный, этот самый... Гитлер, что ли... уж больно добровольцев не любит? Он их, говорят, в первую очередь казнит. Не любит...

— А я его люблю? — сердито спросил Митя. И, продолжая рыться в шкапу, посоветовал: — Ты, бабушка, в политику не лезь...

— Я не лезу, — сказала бабушка. — Я только к слову говорю. Вдруг... Всякое может случиться. Вдруг, не дай бог, он тебя поймает. Скажут: доброволец...

— Я тебе, бабушка, русским языком говорю, ты в политику не лезь, — уже строго повторил Митя.

— Да я не лезу, — плаксиво сказала бабушка. — Но ведь я тоже не каменная. Ведь собаке и той свое дитя жалко. А я-ведь тебе родная бабушка.

И негромко всплакнула.

Митя вдруг встал, выпрямился, покраснел.

— Чего ж ты мне советуешь? Убежать, скрыться?

— Боже тебя упаси! — испуганно проговорила бабушка. — Мы, слава богу, русские люди. Куда же мы из своей земли бежать-то будем? Но говорят, он прямо железными танками на нас идет. И сила у него громадная. И солдат много, и оружия разного.

Митя помолчал, походил по комнате.

— Желаешь, бабушка, я тебя тоже эвакуирую? — мягко спросил он.

— Ну, уж куда мне на старости лет...

После этого они молча пили чай. Было слышно, как в кухне громко капала в раковине вода, а в коридоре шлепал туфлями бухгалтер, отхаркиваясь.

Мите вспомнилось почему-то детство и как спал он вот на этом коротеньком сундучке, где сейчас лежит его шинель.

Как его, маленького, трехлетнего, после смерти отца привезли сюда, к бабушке, он уже не помнил, но как спал на этом сундучке, он еще не забыл. Потом он вырос и спал на полу. А когда он кончил учиться и стал работать, купили вот этот диван. И он спал на диване.

Удобно ему было спать. Около дивана — лампочка. Прикроешь ее ночью газетой и читаешь всю ночь, а под

утро, чуть вздремнешь, бабушка тянет за шею: «Митя, Митя же... Митька! Опоздаешь...»

И бывало жалко бабушке Митю. Но Митя выпрыгнет из-под одеяла, побежит в трусах на кухню, обольет себя холодной водой и через минутку, веселый, натягивает штаны и жует ломоть батона, схваченный со стола, пока бабушка достает из шкапа чашки.

— Ух ты, птенчик мой, голодный, — говорила бабушка, торопясь с чаем. — Птичка ты моя, утренняя, веселая.

Был он уже рослый, сильный, мог, как куклу, взять бабушку на руки, но для бабушки, в бабушкиной ласковой памяти он навсегда остался маленьким и тщедушным, как пятнадцать лет назад, когда приняла она его из рук чужой сердобольной тетки и впервые, тепленького, прижала к сердцу.

Говорили, будто девушка у него есть, будто видели его с ней в парке культуры и отдыха, смеялись: «Погоди, вот он тебе еще детей своих приведет. И жену». Бабушка смеялась со всеми, а про себя думала: «Брешут. Рано еще мальчику».

А сейчас вот этот мальчик едет на войну.

— Митя, — спросила бабушка, доливая в чайник кипятку. — Это как же обстригли-то тебя? Сам просился или велели? Волосы-то какие были богатые. Не жалко тебе?

— А чего жалеть, — пробурчал Митя.

— И правда, — сказала бабушка и заплакала.

И сейчас же над самой крышей заревел самолет.

Бухгалтер постучал в дверь.

— Имейте в виду, — чуть приоткрыв дверь, сказал он. — Управдом предупредил, что, в случае чего, все должны идти в бомбоубежище. Без всякого исключения.

— Некогда мне ходить, — сказала бабушка, вытирая слезы. — Я вон внука на войну провожаю.

Бухгалтер пошире приоткрыл дверь и наконец вошел в комнату, в шлепанцах, в нижней рубашке, с подтяжками, болтавшимися, как раздвоенный хвост.

— А-а, Дмитрий Васильевич...

Впервые он назвал Митю Дмитрием Васильевичем. Лицо бухгалтера стало торжественным. Он протянул Мите руку. Митя встал.

— На фронт едете? — спросил бухгалтер, потому что больше пока нечего было спросить.

— Добровольцем пошел, — ответила бабушка, и в го-

лосе ее прозвучала гордость. Она вытирала полотенцем слезы.

Бухгалтер, будто увидев впервые, внимательно осмотрел Митю. Все, видимо, понравилось ему в этом молодом человеке — и глаза, светлосерые, упрямые, и плечи, обещающие еще стать богатырскими, и грудь, широкая, выпуклая.

— Да, — сказал бухгалтер, вздохнув. — Лучших своих детей посылает Россия. Лучших своих детей...

Он замолчал на минутку. Потом вдруг обнял Митю и сказал потрясенно:

— Ну, давайте простимся, Дмитрий Васильевич. Не поминайте лихом, если я вам когда-нибудь что-нибудь ска- зал или подумал...

В стариковских глазах блеснули слезы. Не вытирая их и не скрывая, он еще, непонятно зачем, сказал:

— Стыдно мне перед вами, Дмитрий Васильевич: и того, что я старый хрыч такой, и того, что я бомб ихних боюсь, и за всю свою жизнь стыдно...

Митя стоял растерянный.

Бухгалтер еще раз пожал ему руку и ушел из комнаты так же, как пришел, внезапно, оставив после себя непонятную и тяжкую тоску, встревожившую душу молодого человека.

Бабушка тихонько плакала на кухне.

Митя взглянул на часы и стал собираться. Он засунул в карманы шинели три пары носков, вынутых из шкапа, шесть носовых платков, опасную бритву в бумажке. Потом осмотрел комнату. Что еще взять?

Увидел на стене гитару, снял ее с гвоздя, положил на колени и неожиданно для себя заиграл цыганский романс, слышанный где-то давно-давно.

В романсе были странные, смешные и все-таки грустные слова:

...Ты ушел, и твои плечики  
Ушли в ночную мгла...

Митя пропел их негромко, и ему показалось, что это какая-то девушка поет про него, ушедшего на войну. Может, это Надя Хмелева поет? Интересно, где она сейчас, Надя Хмелева?

Бабушка вернулась из кухни, уже наплакавшись всласть и опять деловитая, как ни в чем не бывало.

— Чего бы тебе, Митя, с собой взять?

— Да я уже взял. Ничего мне больше не надо. У меня все есть.

— Хоть бы конфетки и вон сушки взял.

— Да на что они мне? — несердито сказал Митя.

— Ну как же все-таки даже без конфеток, — бабушка стала завязывать конфеты и сушки в пестрый узелок. — Отца твоего я вот так же собирала в четырнадцатом году, — вспомнила она. — Он не женатый тогда был. Красавец, как вот ты. Представительный. В конном полку служил...

Бабушка много раз описывала внуку его отца, которого мальчик помнил только по фотографии.

Война изломала его отца. Мать Мити, вышедшая за калеку из жалости, вскоре оставила его. Где она теперь, его мать, никто не знает. Может быть, тоже умерла, как и отец.

Митя повесил гитару на гвоздь. «И отца я им тоже припомню, — вдруг зло, и со зла прикусив губу, подумал он про немцев. — Убью, сколько смогу, а потом видно будет. Не мы первые начинали». Но, повернувшись к бабушке, он сказал совсем другое:

— Я прошу тебя, бабушка, гляди за гитарой. Будут тут соседские девчонки просить, ни под каким видом не давай. Они ее расстроят. — И вдруг так же зло, как в мыслях, добавил: — А то я за гитару могу голову оторвать.

— И мне? — обиженно спросила бабушка.

— Про тебя нет разговору, — ответил все еще злой Митя. Внутри у него все кипело. Не мог же он объяснить бабушке, кому бы он хотел оторвать голову.

Гитару он снова снял с гвоздя. Расстелил на столе две газеты и аккуратно завернул в них гитару.

— Приеду, опять сыграю.

Бережно повесил гитару на гвоздь. Надел шинель и держа в руках пилотку, сказал:

— А ты, бабушка, не беспокойся. Будешь за меня полную зарплату получать. Кормись, как раньше. Ничего для себя не жалея.

— Для чего мне зарплата? Я в таком случае сама работать пойду. Говорят, теперь старух берут варежки красноармейцам вязать. Что я, выболела, что ли? — обиженно сказала бабушка.

Митя наклонился, обнял ее и троекратно крепко поцеловал.

Бабушка не плакала больше. Глаза у нее были сухие и как будто сердитые. Она смотрела на Митю прямо. Но говорила, не пряча сердитых глаз, очень грустно и очень ласково:

— Ты меня, Митенька, прости на добром слове. Я тебе никогда ничего худого не присоветовала. И сейчас говорю... Уж раз поехал ты на войну, поезжай. И помни одно. Я няньчила тебя, Митя. Ты слабенький был, поносом хворал. Я выняньчила тебя, вызволила от смерти. И видишь ты, какой, слава богу, вымахал. Власть учила тебя на свой счет, пособие давала. Ты дорогой цены человек, Митя. Помни это, — сказала она с внезапной яростью. — И уж если полетит в тебя пуля, — не бойся. Бей их, дьяволов-кровососов, в хвост и в гриву, чтобы только шкурка ихняя поганая клочьями с них летела... — И добавила, как по секрету: — Сила в тебе, Митя, против немцев должна быть громадная. Ты один можешь десять задавить. Помни это, Митя. Ты хорошей русской крови человек.

Бабушка вышла провожать его в переулок, и в переулке она еще сказала:

— Помни, Митя, — чтобы никакого сраму нам не было, чтобы в случае чего сам товарищ Сталин мог сказать: вот, мол, глядите, какого нам солдата-красноармейца старуха Попова представила. Хоть, мол, он и не призывался еще...

Митя улыбнулся. И бабушка улыбнулась. Они поцеловались еще раз.

Митя, вдруг повеселевший, пошел вниз по переулку.

По Неглинной мчались грузовики.

А день был пасмурный, осенний и по-осеннему грустный.

Но Митя Попов, шагая по улице, вспомнил другой день, прозрачный и праздничный, один из последних дней золотой осени, когда он поговору с друзьями записался в добровольцы. Они шли по улице в пиджаках, в легких, летних сандалиях, здоровые заводские парни-одногодки, одинаково обиженные, что их не взяли в регулярную армию, потому что еще не подошел их год. Они шли по улице гурьбой вступать в добровольцы.

А теперь Митя Попов шел по улице один. Про некоторых ребят было слышно, что они уехали раньше его на фронт, про других ничего не слышно. Непонятно, например, где сейчас Петька Щелконогов, Сережка Князев или

Аркашу Девятин. Говорили, будто Аркашу Девятина убили. «Вранье, наверно, — подумал Митя. — Не может быть!»

Митя не хотел поверить, что убили лучшего его друга Аркашу Девятина. И, шагая по улице, он вспоминал его, живого, веселого, шедшего с ним рядом в тот последний день золотой осени, в знойный день. Под ногами был еще, кажется, горячий асфальт.

Митя шел теперь по холодному асфальту. Шел рассеянный, погруженный в воспоминания.

В казарму он явился в точно назначенное ему время.

В казарме был в этот час только один Воистинов. Не молодой уже человек, бывший каменщик и верхолаз, он сидел сейчас в большом светлом зале около своей койки и, прилаживая тесемки к вещевому мешку, мурлыкал какую-то песенку.

Лицо у него было темнокоричневое, сухое, как на иконах старинного письма, но освещенное добрыми, детскими глазами.

Увидев Митю, он заулыбался:

— Ну, как там, сынок, дела? Чего слышно в Москве?

— Уезжают, — сказал Митя и присел около Воистинова на сапожничью низенькую скамеечку. — Все время идут грузовики...

— Ну это правильно, — умиротворенно сказал Воистинов. — Детишек надо вывезти...

— Да не только детишки, — сказал Митя. — И взрослые тоже уезжают. С учреждениями...

— И это правильно, — подтвердил Воистинов. — Для чего нам надо, чтобы он у нас невоенный народ покосил? Пусть, кто сейчас тут до крайности не надобен, уедет. А кто потребуется, того призовут.

— Тебя же, дядя Костя, не призвали. Ты же сам добровольцем пошел, — напомнил Митя.

— Мало что я, — сказал Воистинов. — Меня с другими равнять нельзя. У меня есть свои соображения жизни. Я, например, не люблю, когда за меня воюют. Понятно?

— Не всё, — сказал, улыбаясь, Митя.

— А всё понять, милый мой, невозможно, — вздохнул Воистинов. — Всё, наверно, и слон не понимает, хотя, гляди, башка какая, а турки на нем верхом ездют в жарких странах.

Шуткой Воистинов прикрывался всякий раз, когда у него допытывались, зачем он почти на старости лет пошел в добровольцы.

— Да я и не старый, — говорил он, и глаза его насмешливо искрились. — Давай поборемся. .

И он вдруг распрямлял свое тело, гибкое, как у молодого, и вытягивал длинные сильные руки с тяжелыми, как клещи, кистями.

Человек этот постоянно удивлял Митю. Был он не похож на других людей и лицом, и манерой говорить, и побадками, и хитрецей, иногда светившейся в его наивных, детских глазах. И фамилия у него была какая-то странная — Воистинов. И он гордился своей фамилией:

— Нашей фамилии даже в московской телефонной книге нету. Уж каких-каких там фамилий нет. А нашей нету... Из Сибири восходит наша фамилия. Прадед наш из Сибири. Мы, Воистиновы, все скрозь — каменщики и верхолазы, изначальные. Сколько церквей в России мы благодетельствовали колокольнями...

И опять невинно и насмешливо улыбался.

Митя как-то спросил:

— А семейство у тебя есть, дядя Костя?

— А как же. Что я, скопец, что ли, или святой угодник? Ты для чего это спрашиваешь?

— Просто так. Я думал, может, у тебя семейства нету.

— Нет, семейство у меня есть. Шесть дочерей, два сына. Оба каменщики. Оба воюют сейчас. Один лейтенант.

— Вот тебе бы сейчас к сыну и устроиться, — сказал Митя. — Свой лейтенант.

— А зачем мне свой? — спросил Воистинов. — Мне и так не плохо. Я у своих детей еще под начальством не был. Я пока не хвораю. Я сам могу...

Вот, может быть, в этом и была причина. Может быть, самолюбие и повело его на войну. Но Митя продолжал допытываться.

Среди добровольцев были и молодые, как Митя, и пожилые, как Воистинов. Было два инженера, повар, четыре бухгалтера, библиотекарь, семь маляров, три слесаря, четыре учителя, дворник, пять официантов, два водителя троллейбуса, два кузнеца, три художника, парикмахер, восемь электромонтеров, были два писателя и немолодой профессор.

Все они имели свои гнезда, свои квартиры, свою ра-

боту. У многих — дети. И всё это они добровольно оставили, чтобы в час наивысшей опасности с оружием защищать Москву.

Инженер Кателин, например, всей семьей вступил в добровольческий батальон: сам он стал пулеметчиком, дочка Вера — санитаркой, два сына — Иван и Жора — стрелками, жена Евгения Васильевна — медсестрой.

Ведь они тоже могли, в крайнем случае, уехать куда-нибудь в Актюбинск, или в Бухару, или в Новосибирск, но не уехали. А почему?

Мите было интересно узнать, почему другие, разные, не похожие на него, тоже пошли в добровольцы? У всех свои причины? Или одна общая?

И еще волновало молодого человека, что кто-то уезжает из Москвы не в сторону фронта, а совсем в другую сторону. А вдруг, пока они, добровольцы, будут там воевать, разъедется вся Москва? Позади у них будут только голые здания, стынущие в осеннем холоде. Большие голые здания.

Митя не сразу выложил свои сомнения Воистинову, а исподволь, тихонько стал допытываться, что думает удивительный этот человек обо всем, что волнует сейчас, может быть, не одного Митю.

Воистинов слушал его и, как всегда, невинно и насмешливо улыбался.

— Милый мой, — наконец заговорил он, укрепив тесемки и бросив в угол вещевого мешок, — ты ж так завязнуть можешь, как муха в меду. Увидал, грузовики с вещами идут, и уж испугался. Уезжает, мол, вся Москва. Да разве может вся Москва уехать? Миллионы народу. Уезжает, во-первых, кому это по делу полагается. А кто уезжает потому, что так нужно. Здесь он будет бесполезный. А иной и бежит. Дрогнули некоторые... Только ведь битва-то какая во всем свете. Разве тут укроешься, убежишь в случае чего?

Воистинов встал, прошелся по залу, как бы ища подходящего дела длинным и цепким рукам своим. Увидел на двух кроватях помятые одеяла, оправил их, будто он староста тут. Потом подошел к Мите и уже сердито продолжал:

— А Россия не дрогнет. Это я могу тебе в точности сообщить. Я уж на третью войну еду. Ведь у нас, у русских, как бывает? Ударь меня раз, — я, может, даже сро-

бею немножко. Ну, конечно, дам сдачи. И мы немцев ведь тоже лупили с первого разу. Ударь второй, — я начну сердиться и уж хлестану как следует. Немцам ведь по второму разу здорово попало и под Одессой и под Киевом. А если уж в третий раз ударить и я кровь, не дай бог, на себе увижу, тут уж я ничего не прошу, тут уж я кому угодно в горло вгрызусь. Или он меня добьет, или я его. Обязательно. У нас такой характер, у русских. И на войне кто был, знает. Вот сейчас, как я считаю, немец нас уж по третьему разу ударил. Москву грозитя у нас забрать. И гляди, как весь народ ошетинился. Ты на грузовики с вещами не гляди. Ты на баб наших гляди, которые уж плакать перестают. Злость им слезы сушит. Я вчера в госпитале у знакомого был. Так бабы там в очереди стоят, кровь свою сдают и обижаются, кричат, у кого не принимают. Говорят: нас, как баб, на фронт не берут, так мы хоть тут помогать будем. И помогают. Окопы роют вместе с мужиками. И вчера рыли, и сегодня, и завтра будут рыть. А ты говоришь — уезжают! Нет, брат. Русские сейчас стали много злее. Поняли, что сами себе — хозяева. Понастроили-то мы сколько всего за эти годы. За всю жизнь не оглядишь. Бедствовали-то сколько лет из-за чего? Чтобы немцу все отдать? Нет, брат, этого не бывает...

Воистинов, сердитый, ходил по залу, привычно ища работу. Поднял с полу две бумажки, бросил их в ящик в углу.

Митя смотрел на него, уже по-другому взволнованный.

— Нет, Митрий, ты еще не медведь. Ты еще медвежонок только. У тебя охвату настоящего нету, — неожиданно мягко и даже ласково сказал Воистинов. — Вот, скажем, пушка. Она стреляет. А ее ведь раньше сделать надо, снаряд к ней приготовить. А раз человек пушки делает, значит, он воюет. Он хоть за Урал уедет, он все равно там пушки будет делать. А ты говоришь — не в ту сторону уезжают. Думаешь, все в одну сторону должны ехать? А кто продовольствие, одежду для нас с тобой будет готовить? Или опять же ружья? Другое дело, что стрелять из пушки должен особо крепкий, здоровый человек. Тут специально народ призывают, доктора осматривают. А кого не призвали, тот может про себя напомнить: чтобы не забыли, если он в себе особую крепость чувствует. Вот, скажем, мы...

Мите было приятно; что Воистинов причислил его к

тем, в ком есть «особая крепость». Он совсем успокоился. И только все время хотел спросить: а куда народ ушел из казармы, если сказали, что сегодня они наконец едут на фронт.

Воистинов без вопроса ответил:

— Попрощаться пошли, — кивнул на пустые койки. — Ведь не к теще чай пить едем, на войну. Там еще всякое будет: и поранить могут, и убить. Некоторые, может, и не вернуться вовсе. А как же? Попрощаться пошли...

Воистинов подошел к широкому окну, облокотился на подоконник и долго задумчиво смотрел на улицу, на небольшую квадратную площадь. Потом сказал вдруг почти с восторгом:

— Ух, сколько еще всяких делов будет. Дух даже захватывает. Битва-то, битва-то какая идет. Во всем свете. И на земле, и на море, и в облаках. Приснилось бы такое, с испугу можно помереть. А так, в натуре, когда сам участвуешь, — ничего. И убьют — ничего. И поранят — ничего. Большая, Митька, у нас страна, Россия. Под названием Советский Союз...

Воистинов подошел к своей тумбочке, выскреб из коробки остатки табаку, свернул папироску.

— А табаку почему-то не дают. Вторую неделю без табаку живем. Неужели ж у нас в России табаку нету? Не может быть, — задумчиво сказал он.

Митя смотрел в окно. Через площадь шел инженер Кателин в форме красноармейца. Инженер шел твердо, как на ученьи, но чуть ссутулившись; за плечами у него — вещевой мешок. Потом из-за угла вышел парикмахер Алтухов.

— А ты чего ж, дядя Костя, не сходил проститься? — спросил Митя.

— Я уж вчера попрощался, а сегодня уж не пошел. Для чего? И себя расстраивать, и старушонку тревожить. Дочери-то замужем. Им что! А старушонке меня жалко, все-таки двадцать семь лет вместе прожили...

Постепенно казарма наполнялась народом.

Инженер Кателин сидел на своей койке и старался втиснуть в вещевой мешок две толстые книги.

Повар Михлюдов молча наблюдал со своей койки за его работой. Наконец не выдержал, спросил:

— Да на что они вам, книжки-то эти, Степан Степанович? Неужели ж вы их на войну повезете?

— Повезу, — ответил инженер.

— Странное дело, — сказал повар, лежа на спине и закинув руки на затылок. — Люди даже чемоданы целые бросают, вон я сейчас поглядел. А вы книжки собираете.

Кателин вынул большую кружку из мешка и вместо нее засунул книжки. Кружку стал привязывать к мешку сверху.

Митя подошел к нему, спросил:

— Вы уж попрощались?

— Уже, — весело ответил инженер. — Жена едет со мной в одну сторону, а дочка и сыновья уехали на Юго-западный. Дочка очень жалела, что нельзя с собой кошку взять. У нас хорошая кошка Аксинья. Пришлось вместе с ключами передать управдому. Дали ему сорок рублей кошке на харчи...

— Тут, может, людям-то скоро жрать будет нечего, а они кошку снабжают, — проговорил повар Михлюдов.

Но инженер даже не взглянул на него. Митя, однако, сказал повару:

— Быстро панике поддаешься. Егор Сергеич. С чего это ты взял, что жрать нечего?

— Да я не говорю, что нечего, — оправдывался повар. — Я говорю, может так быть, раз война...

— Ну, этот тоже захворал, — презрительно взглянув на повара, сказал Воистинов. И осердился: — Мальчику какому-нибудь, скажем, простительно. А тебе-то как не стыдно слюни распускать, толстый ты боров? Чего ты, где наслушался? Кому это жрать нечего?

Повар хотел ответить, даже сбросил ноги с кровати, но в это время пришел политрук Бакланов. Началась беседа.

Политрук говорил о чрезвычайной опасности, которая угрожает сейчас Москве, о том, что немцы и численно и количеством техники превосходят нас. Под Москвой идут тяжелые бои.

Нового, конечно, в этих словах ничего не было. Об этом писали газеты. И газеты уже были прочитаны.

Новым было то, что политрук говорил на этот раз, как бы советуясь с бойцами.

Бойцы через несколько часов пойдут в большое, решающее сражение, и политрук тоже с ними пойдет, — так вот нужно подумать вместе, не забыл ли кто чего-нибудь, все ли у всех в порядке, нет ли каких просьб, нет ли ка-

ких-нибудь пожеланий. Потом об этом думать будет поздно, думать надо сейчас.

Минуту все молчали. Потом бывший повар Михлюдов спросил:

— А насчет чего подумать-то, товарищ политрук?

— Ну, мало ли насчет чего! Может, есть у кого какие-нибудь вопросы, сомненья. Давайте разрешим. Потом поздно будет...

— А какие сомнения могут быть? — торопливо сказал Михлюдов. — Все ясно. Воевать едем. Правильное дело.

— Вострый мужик, — кивнув на него, насмешливо сказал Воистинов Мите, но так, что Михлюдов услышал.

— Не вострее тебя, — ответил повар.

— Ну, что ж насчет жратвы-то не спросишь политрука? — напомнил повару Воистинов. — Все беспокоился, хватает ли тебе...

Михлюдов зверовато посмотрел на него. Он крепко не любил Воистинова с первого же дня, как встретились они. Воистинов раздражал Михлюдова и благообразной рассудительностью своей, и тем, что он в жизни как будто всем был доволен, и даже странной своей фамилией — Воистинов.

— Ну уж ты, непорочный, закройся, — посоветовал ему Михлюдов. — Тебе бы в церкви кадило подавать, а не на войну ездить...

— Тебе бы с бабой на печке сидеть да про жратву думать, но я ведь ничего не говорю, — спокойно ответил Воистинов.

Михлюдов очень пожалел, что в минуту плохого настроения, заговорив о том, что, может быть, скоро будет жрать нечего, дал этому человеку такой козырь против себя. Воистинов теперь и в самом деле будет считать его мелким паникером. И, может, другие тоже будут так считать.

Михлюдов вдруг ни с того, ни с сего, но желая как-нибудь защитить себя, сказал Воистинovu:

— Это не ты меня сюда позвал, я сам пришел, и сам на войну еду.

Но тут все «сами ехали на войну». Поэтому заявление Михлюдова не имело успеха.

— Уж это, по-моему, лишнее — ссориться в такую минуту, — сказал политрук.

И Михлюдов, и Воистинов замолчали.

А вскоре незлопамятный повар вынул из мешка банку консервов и протянул Воистинову.

— Она у меня в мешок не лезет. Может, спрячешь ее к себе? Ведь вместе едем...

Воистинову, туго набившему свой мешок, было некуда спрятать банку, но он все-таки взял ее и положил в карман шинели.

Уже смеркалось, когда добровольцы разместились в грузовиках и грузовики тронулись по шоссе в сторону фронта.

Шоссе было мокрое после дождя и тускло поблескивало в тумане. Легкий, нежный туман стелился по шоссе, а над шоссе шумели самолеты.

Митя Попов сидел в грузовике между Воистиновым и инженером Кателиным. Михлюдов поместился впереди. Он все время смотрел на небо, стараясь угадать, чьи это самолеты шумят над его головой, — наши или чужие.

— Наши, — наконец по каким-то неуловимым в сумерках признакам угадал он и повернулся к последнему ряду, где сидел Воистинов с Кателиным и Митей. — Наши, говорю, самолеты-то. Охраняют нас...

— А как же? Вдруг немец на нас бомбу бросит? Все-таки неприятно, — как всегда, невинно и насмешливо сказал Воистинов.

— Небось, не бросит, — серьезно возразил Михлюдов.

А остальные молчали. Грузовики медленно продвигались по шоссе. Впереди их, похоже, грохотали танки, а может быть, шла артиллерия.

Люди напряженно вглядывались вперед, где сгушались сумерки и густел туман, но душевно они все еще неразрывно были связаны с тем, что оставалось позади.

Позади оставалась Москва, оставался Кремль, Красная площадь, мавзолей Ленина, оставались чистые, чуть забрызганные дождем, широкие новые улицы, на которых сейчас, как и вчера, и месяц назад, шуршали троллейбусы, высекая голубую искру на проводах, громыхали, позвякивали трамваи.

Нет, позади оставались не голые здания, как думал еще сегодня Митя Попов. Москва и в эти часы, применителась и к новым условиям, жила так же полно, так же многообразно, как всегда.

В затемненных, замаскированных кинотеатрах показывали новые картины, шли веселые комедии «Свинарка и пастух» и «Антон Иванович сердится». И снова шла «Большая жизнь».

Митя Попов очень жалел, что не успел посмотреть их. Может, больше и не придется увидеть, а говорили, что это хорошие картины. Очень жалко. Ведь когда он вернется, будут идти другие картины.

Митя был уверен, что он вернется. И Москва будет так же стоять, как стояла, и в кино будут показывать новые картины. Ну, а если не вернется...

Митя не хотел об этом думать. Он продолжал вспоминать Москву.

В Москве в этот час в театрах уже заканчивали спектакли, потому что в сумерки начиналась воздушная тревога.

Митя в такое время залезал на крышу.

Небо пламенело в огненных пятнах разрывов.

Митя стоял на крыше семиэтажного дома, где он жил, и, укрытый козырьком чердака, ждал, когда посыплются на крышу зажигательные бомбы.

Но ни разу ни одна бомба не упала около него, хотя из крыш других домов после недолгого грохота вырывались, — он сам это видел, — вслед за клубами дыма красные языки пламени.

Он тогда работал на заводе и только мечтал поехать на войну, а сейчас вот он уже едет. На заводе, наверно, вспоминают его.

На заводе этом, где недавно еще делали детали для сельскохозяйственных машин, сейчас обтачивают стаканы для снарядов, и в этот час, когда грузовики в сумерках продвигаются по шоссе, на заводе обтачивают стаканы...

А ноги все-таки мерзнут. Холодно. Митя постучал ногами по дну грузовика. Вздыхнул. Воиștiнов снял со своего сиденья кусок войлока, бросил ему под ноги:

— На-ка. Теплее будет. А вообще портянки наматываешь неправильно, потому и зябнут.

Но Воиștiнов был не совсем прав. На шоссе и в самом деле становилось холодно, и все больше сгущался влажный туман.

Где-то впереди, в тумане, произошла задержка. На встречу грузовикам везли в автобусах раненых. Потом проехали в повозках беженцы.

Грузовики остановились.

Пользуясь остановкой, многие бойцы спрыгнули с грузовиков, чтобы размять ноги, и сейчас же около них появилась тетка в рыжей сборчатой шубейке и в добротной шали.

Из-под шали она вдруг начала доставать еще теплые печеные яйца и принялась раздавать их бойцам.

— Сколько платить-то, мамаша?

— Да ничего не надо, ребята.

— Ты думаешь, у нас денег нету, что ли? Мы же не бедные.

— Да на что мне ваши деньги, ребята? У меня свой племянник Пушкарев Михайла туда уехал. Может, встретите его там, на войне, так передайте, пожалуйста, что, мол, тетка, скажите — тетя Вера никуда, мол, выезжать не собирается. Адрес, мол, у нее прежний. Пусть не беспокоится. Мы тут окопы строим, скажите...

Увидев Митю Попова, она ухватила его за рукав и тоже сунула в руки теплое яичко.

— Ну, прямо вылитый как мой племянник Пушкарев Михайла, — сказала она, заглядывая ему в глаза. — Может, встретитесь. И рост одинаковый...

Бойцы полезли в грузовики. Митя тоже полез, сконфуженный вниманием тетки, а она перекрестила его и товарищей и сказала:

— Вы, конечно, не верующие. Может, комсомольцы. Но я божественная, как говорится, от старого режима. Я вас все равно благословляю. Действуйте, ребята, с богом. Бейте его, ирода.

И грузовики пошли дальше.

Но километров через шесть опять случилась остановка. Опять навстречу грузовикам везли раненых, а некоторые легко раненные шли пешком за повозками.

На этот раз среди бойцов появились три старика, и особенно был заметен худенький, кажется, чуть подвыпивший старик с мешком, объяснивший, что он идет куда-то по делам общественного питания. Он угощал всех семечками и очень обижался, что бойцы отказываются от семечек.

— Хотя правильно, — наконец согласился старик, — вы военные. Ну на что вам семечки? А я-то угощаю так, от простоты души. Мне же семечек не жалко.

Остановилось несколько легко раненных, отставших от повозок. И с ними старик вступил в беседу и их стал уго-

щать семечками. Особенно его интересовало: а как же немцы воюют?

— Сперва они пробьют дыру,— говорил он, не то утверждая, не то спрашивая. — Верно? Потом они пускают в эту дыру все войско свое. Верно? И тут же делают петлю, чтобы окружить нас. Правильно?

Получив подтверждение, он сказал, что и в первую войну немцы точно так действовали. Потом русские поняли их маневр.

— Главное — привыкнуть, приловчиться,— говорил старик и, бросив свой мешок на землю, суетливо замахал руками, как бы показывая, как надо приловчиться. — Немцы они всегда на испуг берут. Это первая их профессия — на испуг. А как их шарахнешь раз, они, глядишь, совсем другие. И вы, ребята, не бойтесь. Против русских у них кишка все-таки очень слабая. Ну-к что ж, что города взяли? Назад отыдем. И к ним придем. Я вам не глупости говорю. Я Михеев Егор Егорыч. Меня здесь все знают. Я на двух войнах был. У меня ноги нету...

И тут все впервые увидели, что у старика вместо ноги — деревяжка. Он суетился и все объяснял бойцам, как можно лучше бить немцев.

— А сейчас-то под мухой находишься? — укоризненно спросил Воистинов. — Видать, что под мухой...

— Ну-к что ж, — добродушно сказал старик. — Я что пьяный, что трезвый одно скажу. А мне не пить сейчас нельзя. У меня душа болит. Вы вон едете, а я тут остаюсь. А я бы сам поехал, ежели б мне ноги мои погрели. Я бы показал на деле. У меня за ту войну четыре Георгия имеются. Вот, ежели обратно поедете, заезжайте в гости. Я тут нахожусь. Деревня Мухино. Меня тут все знают. Могу представить все четыре. В сундуке лежат...

Митя Попов впервые был недоволен Воистиновым. За чем он обидел старика, сказав, что тот под мухой, если сразу видно, что старик настоящий, хоть и подвыпивший. Видно, что старик действительно волнуется и боится, как бы они, военные, молодые парни, в случае чего не струсили перед немцем. И Мите нисколько не казалось странным, что этот глубоко мирный старик, смешно подпрыгивая, как бы учил бойцов искусству боя, и советовал, и беспокоился.

А когда грузовики пошли дальше, он остался один на шоссе и все кричал, размахивая шапкой:

— Он вам петлю будет делать, а вы ему две делайте! И не бойтесь!

Над шоссе все время шумели самолеты, потом в небе послышался глухой треск, будто разорвали в небе исполкинский кусок полотна. И, закинув головы, бойцы увидели над собой огненные жилки трассирующих пуль.

Над шоссе начался воздушный бой.

— На нас бы не упали, — сказал кто-то, неразличимый сейчас во тьме. И этот возглас разбудил задремавшего было Михлюдова.

Михлюдов посмотрел на небо, ничего не увидел и только услышал дробный, все нараставший пулеметный стук.

— Часто шьют, — сказал он почти восторженно. — Непонятно только, чьи — наши или ихние. Наверно, наши, — и успокоился.

Успокоился он, конечно, не совсем. Было страшно все-таки: а вдруг какая-нибудь, шальная, убьет еще по дороге, и томила эта мысль необстрелянных бойцов и обессиливала сердце.

Поэтому все и молчали. Никому ведь неохота помирать вот так, за здорово живешь, без надобности и без толку...

Грузовики долго шли, не останавливаясь. Им надо было спешить, они шли на войну.

Но война сама все приближалась и приближалась к ним. Было слышно, как стреляли не только над ними, но и впереди, где-то совсем близко, в тумане.

Из тумана попрежнему навстречу грузовикам вывозили в автобусах раненых, и пешком шли раненые, и просто пешеходы, беженцы шли.

Грузовики снова остановились: впереди случился какой-то затор. «Может, бомба упала на шоссе», — предположил кто-то. Бойцы опять спрыгнули с грузовиков.

У Мити Попова, несмотря на войлочный коврик, сильно зазябли ноги. Он приплясывал около грузовика и думал: «Скорей бы приехать. Я бы хоть переобулся».

Но грузовики не двигались.

И снова около бойцов стали собираться случайные прохожие и жители ближайших деревень — может, военные расскажут какие-нибудь новости про войну: ну как все-таки — пройдет сюда немец или нет? Уходить или оставаться?

А молоденький паренек в лаптях и в мохнатой шапке,

которому пока все, должно быть, было ясно, спрашивал: не хотят ли военные закурить? Он угощает.

Но у всех был табак и даже папиросы.

— Где ж ты вчера-то был? — весело спросил Воистинов. — Я вчера бы у тебя обязательно закурил. А сегодня мы табаком богатые. Спасибо, дорогой.

— А то, пожалуйста, — сказал паренек. — У меня табаку много. Я его дяде в Москву нес.

— А сам-то ты откуда? — спросил Воистинов.

— Я-то? Я из Орла. Я тут у тетки в деревне был. А вообще-то я из Орла.

— Из Орла? — спросил бывший повар Михлюдов, желая принять участие в каком-нибудь разговоре. — Как же это вы Орел-то сдали?

— Да, — вздохнул паренек, — сдали. Я ведь еще когда добровольцем-то хотел пойти. Меня в Орле тогда не взяли. Говорят, год не подходит. А теперь в Москву иду. У меня теперь год подходит. Я служить буду.

— В лаптях идешь? Сапог-то нету? — сочувственно спросил Воистинов.

Но паренек юбиделся.

— У меня две пары, — гордо сказал он. — Я даже одни валенки в Красную Армию сдал. Подарил. А другие у меня в Москве. У дяди. И еще одни есть, не очень важные, но ничего. Я их надену и явлюсь...

— А сейчас в лаптях ходишь, — напомнил Михлюдов.

— Для чего ж обувь напрасно бить, — солидно ответил паренек. — Вот в Красную Армию пойду — обуюсь. Мне еще там сапоги дадут, раз я военным буду. Я же не больной нисколько.

Митя Попов стоял тут же и молча наблюдал за паренком. Паренек этот был моложе его, может быть, на полгода, но Митя уже ехал на войну.

Впереди все оглушительнее грохотали пушки. Разгоралась ожесточенная артиллерийская дуэль, и даже отсюда, с шоссе, были видны вспышки ракет и зарево недалеких пожаров.

Очень близко шел упорный и жаркий бой.

Но для паренка, стоявшего тут на шоссе, война настоящему еще не началась. Он еще только мечтал стать военным и завистливо смотрел на военные грузовики, уходившие в сторону фронта, в сторону пожаров и взрывов и холодного огня ракет.

Зарево пожаров становилось все ярче.

Инженер Кателин, все время пытавшийся уснуть и наконец, несмотря на грохот пушек, задремавший было, проснулся от внезапного толчка. Грузовик тяжело качнулся в глубокой рытвине.

Оказывается, воронку от авиабомбы только что заделали и не очень ровно.

Кателин вынул из-за пазухи часы и стал смотреть на циферблат. Ничего, однако, не мог разглядеть.

— Ну-ка, вы посмотрите, пожалуйста, — попросил он Митю. — У вас глаза должны быть острее.

— Восьмой час, — сказал Митя. И взгляделся в циферблат. — Двадцать минут восьмого.

— Я так и думал, — вздохнул Кателин. — Мне давно надо было проснуться.

— Зачем? — спросил Митя.

Инженер Кателин улыбнулся.

— Я уже должен был выспаться после обеда. В половине восьмого у нас обыкновенно пили чай. Вся семья собиралась...

— Вон что вспомнил, — глухо сказал проснувшийся Михлюдов. — Мало что было. Я в это время, бывало, спать собирался. Мне надо было рано вставать. А теперь, что день, что ночь, все равно. Война..

Михлюдов поднял воротник и задремал.

А инженер Кателин смотрел бессонными глазами вперед, в сгустившуюся и гудящую темноту. Он должен был по обыкновению уснуть не раньше двух часов ночи...

Вскоре грузовики, в которых сидели добровольцы, свернули с шоссе на проселочную дорогу и поехали среди леса. И война, с гулом пушек, с заревом пожаров и тревожным шипением и шелестом взлетающих в небо ракет, война, все время стремительно приподвигавшаяся к ним, вдруг стала удаляться.

Уже где-то позади приглушенно бухали пушки.

Грузовики шли теперь среди высоких сосен, плотно обступивших дорогу и, должно быть, несколько не потревоженных войной.

Воздух, густой, ароматный, как-то сразу взбодрил людей.

Воистинно, похоже, даже перекрестился во тьме, вздохнул:

— Благодать-то какая...

И сейчас же, будто в ответ на это, раздался совсем близко оглушительный взрыв. И сразу за ним второй. И третий...

— О! — точно заметив кого-то знакомого, сказал повар Михлюдов. — Вот она!

Митя Попов взгляделся в темноту, тревожно спросил:

— Кто она?

— Ну, как — кто? — сказал Михлюдов. — Война. Не слышишь, что ли?

Но опять наступила тишина. Было слышно даже, как потрескивают ветки в лесу. Грузовики замедлили ход. Ветки затрещали сильнее. Послышался близкий хруст.

— Медведь, никак, идет, — предположил Воистиннов.

И действительно, из темного леса медленно вышла какая-то мохнатая фигура. Потом вторая, третья. Патрули. Уже по-зимнему они были в полушубках. Грузовики остановились.

Шел какой-то неясный, не громкий, но тревожный в темноте разговор. Патрули что-то объясняли командирам.

Потом грузовики опять свернули в сторону и пошли по узкой дороге.

Грузовики покачивались, ныряли в ямы, выскакивали и снова ныряли.

Моторы рычали натруженно. Грязь непролазная...

Наконец грузовики выползли на широкую поляну, продвинулись по ней метров на триста и остановились. Оказалось, это и есть тот пункт, куда следовало доставить добровольцев.

Их встречали окопавшиеся тут красноармейцы, открывали защелчки на бортах грузовиков, и бойцы, вновь прибывшие, весело прыгивали на осеннюю, похолодевшую траву.

Вот тут, где-то за лесом, и должна быть война, на которую так долго и нетерпеливо ехал с товарищами Митя Попов. Будто прошла целая неделя после того, как они выехали из Москвы.

В лесу было совершенно темно. Только белели среди сосен крупные стволы берез. Непонятно: куда тут идти, в какую сторону?

Митя Попов простоял, однако, не больше минуты в такой нерешительности. Все пошло куда-то в еще большую темноту, в глубину леса. И он пошел за всеми.

Обмякшая после дождя земля чавкала под ногами.

Минут через пять Митя вползал в какую-то чуть освещенную изнутри нору. Вновь прибывших распределяли по разным землянкам. Митя Попов попал в одну землянку с Воистиновым и Михлюдовым.

В землянке горела свеча, топилась крошечная печка, сложенная из кирпичей, и в углах была настлана солома. На соломе, прикрывшись шинелями, отдыхали бойцы, приехавшие сюда, должно быть, давно. Около печи сушились их сапоги и портянки.

Воистинов, первым вступив в землянку, вежливо пожелал всем доброго здоровья и стал раздеваться, как будто он только утром ушел отсюда и сейчас вернулся к себе домой.

Митя последовал его примеру. Он снял сапоги и, сдвинув сушившиеся чужие портянки, положил на их место свои.

— Слушай, ты для чего чужие портянки скидываешь? — недоброжелательно сказал кто-то из темного угла.

— Они высохли, — спокойно ответил Митя.

— Мало что, — осердился тот же голос. — Я тут раньше положил...

Митя взгляделся в темный угол и посоветовал:

— Ты пойди себе билет на это место купи. Будешь сушиться, сколько хочешь.

— Ой, да это Митька, — сказал тот же голос обрадованно, и из темноты вылез босой Петька Щелконогов. Он уселся на камешек около Мити. — Я тебя не узнал, Митя.

Михлюдов, медленно и хозяйственно разуваршийся, взглянул на них и, по привычке говорить неприятное, общил:

— Есть такая примета: если знакомый знакомого не узнает, быть тому знакомому или пораненным, или убитым. Или же быть ему богатым, — добавил он после раздумья, сняв сапоги.

— Буду богатым, — сказал Митя.

Петька Щелконогов рассказал, что он тут давно. Был тут и Сережа Князев, но его убили.

— Эх, жалко, — искренне сказал Митя. — Золотой паренек был...

— Но он сам виноват, — сказал Щелконогов. — Вы-

сунулся из окопа, когда ему говорили: не надо. Погорячился.

— Все равно, жалко, — сказал Митя. Он хотел еще спросить, как погиб Аркаша Девятин.

Митя знал, что Аркаша был вместе с Щелконоговым. Хотел спросить, но не спросил: было неприятно говорить об этом. «Потом узнаю», — подумал Митя. И тут ему стало особенно жалко, что лучшего его дружка больше нет. Митя Попов приехал сюда, где был его дружок, но поздно. Нету уже Аркаши Девятина.

Пока Щелконогов рассказывал, пришли еще ребята, незнакомые Мите Попову, но Петька Щелконогов его сейчас же познакомил: вот это Павел Трубилов, а это — Афонька Воробьев.

Маленький, с виду щупленький, но необыкновенно подвижной и озорной, паренек этот на редкость соответствовал своей фамилии — Воробьев. Он не вошел, не влез, а влетел в землянку, уселся на корточки около печки и, не осмотревшись как следует, стал засыпать вопросами Митю. А Павел Трубилов только изредка перебивал его и тоже спрашивал.

Всем было интересно: ну как там Москва? Митя говорил, что все почти так же, как было, больше только стало заколоченных фанерой витрин, мешков с песком тоже стало больше, а так в общем все, как было.

— А тут говорили, будто много народу из Москвы уехало. Правда? — спросил Трубилов.

— Брехня, — сказал Митя и почему-то оглянулся на Воистинова.

Но Воистинов уже уснул, и около него пристраивался Михлюдов.

— Некоторые, конечно, уехали, с детьми кто, — сказал Митя. — И так кто, не военный, служащий. А народ почти весь остался...

— А сегодня утром приезжал один шофер, так он говорил: все, все уезжают, — сказал Афоня Воробьев.

— Брехня, — опять сказал Митя. И ему теперь, душевно успокоившемуся, искренне верилось, что он сам с утра все преувеличил. — Ну, выехало несколько грузовиков с вещами. И только. А шуму, конечно, много.

— А бомбит он Москву? — спросил Трубилов. — Сильно?

— Не очень. Не пускают его все-таки наши. Мног  
сбивают.

— А мы тут каждый вечер волнуемся, — сказал Аф  
ня Воробьев. — Ведь он над нами идет на Москву-то  
Каждый вечер думаем — разваливает он нам город, сво  
лочь. Мы даже так думали: пусть бы он лучше нас ту  
бомбил, а Москву не трогал...

— Ничего. Скоро мы ему воткнем и за Москву и за  
все, — глухо проговорил Трубилов.

Приподнялась плащ-палатка, служившая дверью, и в  
землянку вошел Аркаша Девятин.

Никто, однако, кроме Мити, не удивился его приходу.  
И откуда Митя взял, что его убили? Никак нельзя было  
вспомнить, кто это ему сказал.

Аркаша был такой же, как всегда, такой же худой и  
длинный, и все-таки очень красивый. В военной форме  
еще красивее. Вот бы его сейчас увидели девчонки из пар  
ка культуры и отдыха. Девчонки, которые так бегали за  
ним.

Парни как-то сразу притихли, когда вошел Аркаша  
Девятин, и Митя мог бы теперь понять, почему, расска  
зывая обо всем, Петька Щелконогов даже не упомянул об  
Аркаше.

Парни не любили Девятина. Принято было считать,  
что он и трепач, и выскочка, и очень много о себе думает  
и задается.

Увидев Митю, Аркаша не выразил большого удивле  
ния и даже как-то сдержанно поздоровался. Ну, это уж  
у него манера такая. Все равно Митя рад был несказанно,  
что встретились. Он достал из мешка сухие портянки и  
зачем-то снова надел сапоги. Спать ему теперь не хоте  
лось.

Позднее юн вместе с Аркашей вышел из землянки.  
Над притихшим лесом висело темное небо, полные круп  
ных звезд, и звезды ярко светили. «И звезды это тоже  
наши, советские, русские», — по-детски растроганно по  
думал Митя.

Настроение у него было бодрое, радостное.

— А мне набрехали, что тебя нету, — сказал он Ар  
каше.

Девятин начал красочно, не упуская подробностей,  
медленно рассказывать, как он после боя заблудился в

лесу, целый день и ночь бродил и чуть не попал в плен к немцам.

Аркаша видел немцев, участвовал в боях, и в этом было сейчас его явное превосходство перед Митей. И Аркаша, конечно, пользовался этим превосходством.

В этом темном сосновом лесу, где белые стволы берез внезапно и пугающе выступают из темноты, он ходил уверенно и как бы неохотно, но все-таки с заметным удовольствием рассказывал о своих похождениях.

Получалось по его рассказам так, будто он тут один только и воюет.

Для приличия ему надо бы было вспомнить, что и в добровольцы-то он записался потому, что его уговорил Митя, но он не вспомнил. Он продолжал говорить о своих успехах.

Но это нисколько не сердило Митю.

Митя слушал спокойно, стараясь только выбрать из его рассказа самую правду, полезную ему сейчас, как вновь прибывшему и желающему сразу понять, как же она все-таки выгладит в буднях своих — война. И еще Мите хотелось понять: в каком сейчас положении фронт, правда ли, что немцы прут так, что их даже остановить трудно.

Но Аркаша опять рассказывал только о себе, о своих чувствах, а немцы в его рассказах выглядели на редкость смешными и неумелыми.

Митя терпеливо слушал. Всегда молчаливый, уверенный в себе, в своей силе и действительно сильный и независимый в решениях, он никогда не боялся, что кто-то может обидеть его, унижить или перещегоолять в чем-нибудь, что дано всем или многим. Он никогда не считал себя ни хуже, ни лучше других. Он жил всегда с ощущением, что он такой же, как все, как многие. И такие же, как у всех, недостатки у него и такие же достоинства. Вы не струсите, и я не струшу. А если вы струсите, я все-таки постараюсь не струсить...

Митя знал, что он во многом сильнее Аркаши, но кое в чем Митя уступал ему, и уступки эти начались еще со школьных лет, когда они рядом сидели на одной парте.

У Аркаши по всем признакам и по отзывам учителей было то, что называется воображением. Он любил стихи и читал их мастерски, и сам даже писал стихи. На школьных вечерах он всегда главенствовал. Учителя выделяли

его, как ребенка с тонкой душевной организацией. Он неизменно пользовался успехом у девушек, когда наступило время ухаживать за ними. И тут все преимущества были на его стороне: ведь правда же, что Аркаша красив, умеет поговорить, умеет заинтересовать...

Митя, однако, никогда не завидовал. Он даже гордился, что у него такой ловкий, такой удачливый приятель.

А почему Аркаша стал его приятелем — это было непонятно, может быть, и самому Мите. Просто их свела судьба, просто они привыкли друг к другу. И Митя привык к нему, пожалуй, больше, чем он к Мите.

В последнее время они редко встречались: Митя работал на заводе, Аркаша все еще учился, чтобы стать техником. Но попрежнему они сохранили школьные связи и все еще действовал школьный круг, в котором они иногда сталкивались.

Из этого круга был и Щедконогов Петя и убитый Сережа Князев.

Эти парни работали на одном заводе с Митей. И с ними он сговорился в одно время записаться в добровольцы, а потом уже он встретил Аркашу и уговорил пойти вместе.

Встречи их всегда носили сердечный характер. И сейчас вот, встретившись в этом темном лесу, на войне, они снова поняли, что у них нет никого ближе, с кем бы можно было разговаривать обо всем так откровенно и просто, не рисуясь:

Аркаша, выговорив быстро все, что хотелось сказать о себе, стал расспрашивать о Москве.

Они смотрели на звезды и прислушивались к шорохам леса и все говорили о том, что еще несколько месяцев назад никто из них и не думал, что им придется встретиться вот так в лесу, и что будет война, и враг будет рваться к Москве.

Митя сказал:

— Вот помнишь, как всегда говорили: родина, родина. На всех собраниях говорили: не пожалеем жизни для защиты родины. Ну вот, наступило такое время, надо не пожалеть жизни.

В землянке, когда они вернулись, сидела Надя Хмелева. Она бросилась к Мите, поцеловала его.

Митя сконфузился, но обрадованно подумал: «Все тут. И даже Надька приехала».

И потом только Митя подумал, что она к нему неравнодушна.

Однако вскоре он понял, что думать так, пожалуй, преждевременно. Надя Хмелева работала с санбате санитаркой, приходила к ребятам, когда у нее была свободная минутка, и сумела поставить себя так, что никому не казалось, будто кого-то она особо выделяет,— просто ей становилось скучно, и она приходила к своим ребятам, и свои ребята все ей были одинаково приятны.

Она сидела около печки на камешке и говорила:

— Вам бы, ребята, гитару надо завести. Вот сейчас бы сыграли...

Митя вспомнил свою гитару, и как сыграл на ней в последний раз, как подумал тогда о Наде Хмелевой.

Все, что было с ним там, в Москве, еще сегодня утром, все, о чем думал он там еще сегодня, в сумерках, — показалось ему сейчас ненужным, и мелким, и не стоящим даже воспоминаний.

Главное в его жизни будет, наверное, завтра...

В землянке догорала свеча, воткнутая в бутылку изпод нарзана. Все сидели вокруг печки. Поговорили о том, о сем. Потом опять заговорили, как все эти дни, о немцах.

Павел Трубилов сказал, что вчера и сегодня пришли на фронт новые наши дивизии. Говорят, будто приехали даже сибиряки и сегодня уже «втыкают немцам». А немцы все прут и прут.

Надя рассказала, как ей пришлось на днях перевязывать немца и как ей было противно, но что делать.

— Мы носы и уши ихним солдатам не отрезаем, хотя они наших все время мучают. Я сама видела трупы наших бойцов с отрезанными носами, — сказала Надя. — А мы еще ихних солдат перевязываем...

— Жалко, — сказал Афонька Воробьев.

Надя посидела еще минутку, попрощалась и ушла.

Петька Щелконогов полез в свой угол на солому. За ним полезли и Павел, и Афоня.

Все они легли рядом и оставили около себя одно место для Мити Попова, но Митя хотел, чтобы с ними лег и Аркаша, и попросил их подвинуться.

Когда все уже спали, где-то совсем близко ударила пушка.

Митя встал и прислушался, и хотел даже надеть сапоги. Но больше никто не встал. И он снова лег и скоро уснул.

В середине ночи пошел дождь и лил все утро. Говорили, сильно размыло дорогу. Но все-таки утром приехала походная кухня.

Все пошли под дождем получать суп и кашу. И каша, и суп, привезенные почему-то с утра, были очень вкусные. Особенно — каша.

Но бывший повар Михлюдов ел ее неохотно и все ворчал.

— Ну, конечно, не такая, как у вас в «Метрополе», — сказал ему Воистинов. — У вас в «Метрополе», наверно, кашу с сахаром давали?

— Не в этом дело. Варить не умеют. Государственную крупу портют, — осуждающе сказал Михлюдов.

— Вот ты бы и пошел к ним на кухню, — посоветовал Воистинов. — Показал бы. Да на кухне и воевать веселее. Не так все-таки опасно.

Михлюдов огрызнулся. Назревал скандал. Но тут пришел Петька Щелконогов, позже всех задержавшийся у кухни, и сказал, что там сейчас провели пленных немцев. Штук сто.

Митя Попов, не доев каши, хотел пойти посмотреть на немцев. Михлюдов тоже надел шинель. Но Воистинов сказал:

— Увидим их еще. В натуре.

И в ту же минуту в землянку вошел незнакомый, сильно вымокший под дождем, сержант и велел немедленно собираться.

Все еще шел дождь.

Под дождем сержант наскоро объяснил боевую задачу. Все уселись в грузовики, и грузовики сейчас же двинулись.

Дождь усиливался.

Дорогу действительно размыло, но грузовики продвигались не останавливаясь. И Митя Попов, сидя в грузовике, тревожно думал: все ли у него в порядке, не забыл ли он чего-нибудь, и удивлялся, что команду над ними принял незнакомый ему сержант, — а где их командир?

— Тут же разный народ, — сказал он, поместившись опять рядом с Воистиновым. — И не из нашего взвода есть. И сержант какой-то не наш.

— Ничего. Значит, дело требует. Некогда разбираться, — строго сказал Воистинов.

Грузовики выбрались из леса и помчались по грунтовой дороге, подпрыгивая на ухабах.

Митя все время старался разглядеть в дожде Аркашу Девятина, ехавшего на переднем грузовике, но разглядеть было невозможно: бойцы все одинаково были укрыты плащ-палатками.

Очень быстро доехали до ближайшего леса, и сейчас же на ходу с грохотом отвалились борты грузовиков.

Бойцы молча спрыгивали на мокрую землю и, пригнувшись, врассыпную втягивались в лес.

Митя Попов, как и все, бежал отдельно, вглядываясь вперед и осматриваясь по сторонам.

Впереди он видел только согнутую спину сержанта и старался держаться недалеко от него.

Вот сержант остановился, стал на одно колено. Митя тоже приготовился, но сейчас же заметил, что сержант разговаривает с кем-то.

На земле, на опавших мокрых листьях, лежал раненый красноармеец.

— Вы левее, товарищ сержант. Левее берите, — быстро говорил раненый. — Левее там чаща. Его из чащи бы надо выбить на трясину. Он завязнет.

Митя взял влево. И влево двинулся сержант.

Около них на небольшом расстоянии друг от друга двигалось все подразделение.

Митя опять смотрел вперед и оглядывался. Он хотел увидеть Аркашу Девятина.

На минуту Аркаша мелькнул в кустах и снова скрылся.

Митя хотел даже подбежать к нему, но сейчас же раздумал. Нельзя. Он попрежнему держался ближе всех к сержанту.

На земле лежал второй раненый красноармеец, третий. И недалеко от них — убитый немец в сером мундире: он лежал на спине, прислонившись к стволу, точно скатился с дерева.

Митя заглянул ему в лицо. Зубы у мертвого немца были оскалены. Длинные желтые зубы.

— Где ваш командир-то? — спрашивал сержант у раненого.

— У овражка он. Вон левее-то, — говорил слабым голосом раненый. — Убитый или, может, нет. Лежит. Они

у нас троих командиров положили. Кукушки эти. С деревьев бьют..

Сержант не побежал, а пополз к овражку. И Митя пополз за ним. Над ними уже щелкали, пистали и повизгивали пули, и на них летели срезанные пулей ветки с деревьев.

У овражка действительно лежал лейтенант, раненный в обе ноги, в плечо и в голову. Девушка делала ему перевязки. Сержант наклонился к нему. Говорили чуть слышно.

Митя ничего не понял. Он только видел, как сержант оглянулся, поискал кого-то глазами и, точно нашел, сказал Мите:

— Вы — около меня. Для связи.

— Ладно, — неуместно домашним голосом сказал Митя. И сам не узнал своего голоса.

Но сержант не обратил внимания. Он только спросил:

— Фамилия какая?

— Попов, — сказал Митя.

— Хорошо — Попов, — запомнил его сержант. — Никуда не уходить.

— Есть никуда не уходить, — на этот раз по-военному повторил Митя и хотел даже выгнуться, но было нельзя. Он только поправил винтовку и вдруг увидел у себя на правой руке на пальцах липкую кровь.

Кровь текла из рукава. «Уже, — обиженно подумал Митя. — И ни разу не выстрелил не только из миномета, но даже из винтовки. Кто же это меня?»

Злость, и обида, и боязнь, что придется, может быть, выйти из боя, так и не повоевав, заглушили тупую боль.

Митя не хотел показывать кровь, но винтовка, и рукав, и пола шинели были уже измазаны в крови.

— Будем выбивать его из чащи, — сказал сержант после того, как все поняли, что именно он поведет теперь за собой и тех, кто прибыл с ним, и тех, кто участвовал в этом бою и с трудом загнал немцев в темную чащу.

Около него собрались командиры отделений и красноармейцы, в бою принявшие на себя команду, когда командиры были убиты или ранены. И они услышали вдруг изменившийся голос сержанта:

— Кузьмин, Яковлев, ваши отделения обходят противника справа. Пулеметы с вами. Четыре. Остальные со мной.

Часть людей сейчас же уползла.

Митя увидел Аркашу. Он снова мелькнул среди деревьев. Непонятно, уходил ли он или оставался здесь. «Аркадий!» — хотел крикнуть Митя, но постеснялся, может быть, это не полагается.

Хотелось понять, что тут было, на поле боя, до них: почему немцы — в чаще, а наши раненые — почти на открытом месте? Где другие наши бойцы? Неужели немец перебил всех? Зачем тогда немец ушел в чащу?

Сержанту это, видимо, было понятно, но спрашивать, наверно, нельзя.

И Митя молча полз за сержантом, пачкая землю своей кровью. «Как из барана идет», — думал он, продолжая ползти. Боль становилась все явственнее, острее.

Около поваленных деревьев, против темнозеленой чащи, где скопились немцы и изредка постреливали, сержант остановился и залег.

Митя устроился рядом.

Вокруг них и дальше, в линейку, не близко друг к другу, лежали бойцы.

Остро запахло землей, гнилью, прошлогодним листом. Бойцы окапывались.

Митя, подражая им, лежа стал рыть землю.

Вдруг кто-то толкнул его. Он оглянулся. Воистинов трогал его за окровавленный рукав:

— Давай перевяжу.

Митя молча согласился. Воистинов вскрыл свой индивидуальный пакет.

— Ты шинельку скинь, — посоветовал кто-то. — А я тебя сам окопаю.

Митя увидел Михлюдова. Бывший повар поместился совсем рядом с ним и стал выгребать из-под него мокрую землю.

Дождь, утихнувший было минут на пятнадцать, снова пошел. И точно заодно с дождем участились выстрелы из чащи. Немцы не хотели подпустить к себе.

— У них патронов много, — сказал Воистинов. — Видишь, как бьют-то. И не целятся. В белый свет, как в копейку.

Бойцы лежали молча, вглядываясь в темнозеленую чащу впереди. Из чащи все били и били.

Митя, скинув шинель с одного плеча, лег на спину, чтобы удобнее было перевязывать руку.

Воистинов, не поднимаясь с земли, хлопотал над ним и говорил негромко:

— Пуляжи. Пуляжи кожу только задела. А крови в тебе много. Пуляжи, Митрий.

Наконец перевязка была закончена. Митя снова стал медленно перевертываться на живот. И тут он заметил, как соседний боец дернулся всем телом, будто наскочил на горячее, и начал обеими руками рвать что-то у себя на груди, царапать грудь и вдруг вытянул руки, затих. Убили.

Митя увидел это первый раз в своей жизни. Он снова подумал почему-то об Аркаше Девятине и снова стал искать его глазами.

Аркаши нигде не было.

Митя лежал теперь в углублении, вырытом ему Михлюдовым. Но Михлюдов уже уполз куда-то. «Надо было ему хоть спасибо сказать», — подумал Митя. И сказал Воистинову:

— Спасибо, дядя Костя.

— Это не надо говорить, — сказал Воистинов. А почему не надо — не сказал.

Боли Митя больше не чувствовал. Он опять, как и все, смотрел в темнозеленую чащу, из которой стреляли в них.

«Почему мы-то молчим? — обиженно думал Митя. — Они меня ранили и вон человека убили...»

И опять он подумал про Аркашу. Надо было его тогда окликнуть. Убьют они его.

Вскоре затрещали пулеметы с двух сторон чащи. Немцы немедленно ослабили огонь спереди по лежавшим против чащи вместе с сержантом бойцам. И когда немецкий огонь совсем утих, сержант скомандовал:

— Пулеметы!

Пулеметы ударили прямо в чащу. Прошло минут пять или десять, или только одна минута. Сержант поднялся, ухватился за сучья поваленных перед ним деревьев и голосом, опять не похожим на его собственный, крикнул:

— За родину... За Сталина!

Бойцы поднялись. И Митя Попов поднялся. И Воистинов. И Пашка Трубилов, оказавшийся совсем рядом. И Михлюдов, снова появившийся откуда-то.

И только Аркаши Девятина нигде не было. «Может,

убили уже», — быстро и грустно подумал Митя. И сразу забыл все.

Позднее он мог только вспомнить большого рыжего немца без шапки, которого он первого ударил штыком в грудь, желая, однако, ударить в брюхо, и как немец ухватил его цепко за плечи.

Но Воистиннов в тот же момент ударил немца прикладом по голове, и он обмяк, как мешок, и упал им под ноги, удивив Митю.

Помнил Митя мягкую тушу врага, на которую он наступил ногами, стараясь достать штыком офицера, выстрелившего в Афоньку Воробьева.

Афонька вдруг упал, а Петька Щелконогов столкнулся с Митей, и Митя чуть не сшиб Петьку. Под ногами у них лежал офицер, которого убил неизвестно кто.

Потом Мите хорошо запомнилось, как он испугался в бою, обнаружив, что у него пропало зрение: будто кто-то надел ему на глаза липкую маску.

Он сорвал ее с глаз левой рукой, и это оказалась не маска, а его же собственная кровь, вдруг хлынувшая со лба. Но кто его ударил, он не заметил.

Он страшно обрадовался, когда к нему вернулось зрение, но кровь текла, ослепляла, и Митя вытирал ее много раз машинально левой рукой, пробираясь все вперед и вперед. И если б надо было драться всю ночь и весь день, и еще ночь, он дрался бы все с нарастающей силой.

После боя он вспомнил слова бабушки о том, что в нем «против немца должна быть громадная сила», и удивился этой собственной силе.

Помнил также Митя, как удивил его Афонька Воробьев, снова после смерти своей появившийся в бою, но что делал Афонька, он не помнил. Он не помнил даже все, что делал сам. Помнил только, как хотел ударить прикладом по немцу, а ударил по кусту. Немец присел, и Митя чуть не свалился, когда немец толкнул его головой в живот и побежал. Кажется, Пашка Трубилов догнал немца.

Запомнилась Мите и широкая ярко-зеленая во мху поляна, по которой, увязая, немцы бежали из чащи прямо в трясину, потому что с трех сторон их били из пулеметов.

Удивило также Митю, что немцы оказались в отдельности мельче и слабее, чем он думал о них раньше, и что

они визжат, когда им плохо, и что многие из них носят очки.

Надя Хмелева перевязывала Митю. У него оказалось шесть колотых ран, одна огнестрельная в руку и несколько царапин. Все раны были легкими, и после перевязки он почти не чувствовал боли.

Боль пришла к нему только ночью, когда он неудобно улегся, и еще утром на следующий день, когда, забывшись, он делал резкие движения. Его посылали в санбат, но он не пошел. Раны быстро заживали.

— Молодой ты, — завистливо и восхищенно сказал ему Воистинов. — На тебе сейчас все, как на собаке, заживает, поэтому и не бережешься. А я вот должен оглядываться.

Воистинов не получил в бою ни одной царапины, хотя дрался, как все, и, может быть, даже лучше многих. Цепкие и тяжелые, как клещи, руки его, постоянно ищущие работу и привыкшие поднимать камни, действовали и в бою безотказно и страшно. Он мог бы ударить кулаком и убить.

Серьезно был ранен только Михлюдов: две пули прострочили ему плечо. Он был обижен.

— Все равно я на кухню не пойду. Не думай. Я полежу недельку и вернусь. Вот посмотришь, — сказал он Воистинову.

Аркаша Девятин не пришел после боя. Митя беспокоился за него и хотел итти искать, но его не пустили. А когда через сутки почти Аркаша пришел, Митя снова радовался так, будто друг его вернулся с того света.

К счастью, у Аркаши была только оцарапана щека, и он стер себе ноги. Однако от перевязки он отказался и даже сердился на Надю Хмелеву, когда она приставала к нему с перевязкой.

— Мне нужно только немножко покоя, — говорил он. — Я хотел бы сосредоточиться и подумать, как это было.

Надя Хмелева пришла к ним в землянку через два дня после боя, и они опять говорили о том, о сем и, как все эти дни, больше всего о немцах.

Пашка Грубилов и Афоня Воробьев пользовались не только сводками Информбюро. Они расспрашивали разных людей, и у них всегда были самые последние сведения о положении на всем фронте.

Они говорили теперь, что сибиряки, по слухам, здорово воткнули немцам, и немцы немного остановились. Но на-днях, наверно, опять попрут. Им холодно, и они треться собираются в Москву. Гитлер им прямо велел туда ехать на-днях, и на-днях действительно на шоссе в тылу у немцев наши партизаны остановили штабную немецкую машину, в которой ехали шесть пьяных офицеров. Партизаны их спросили, куда они едут.

— Нах Москау, кафе «Метрополь»,— ответили немцы.

— Знают, значит, суки,— извини за выражение, Надя,— сказал Петька Щелконогов.— Знают, значит, что у нас есть «Метрополь».

— Они все знают,— как из первых рук сообщил Афонька Воробьев.— Они, по-моему, даже знают, что в Москву никогда не войдут. Уж так просто, на испуг берут...

— Ну, а партизаны что?

— Ну, а партизаны, как полагается, взяли их за это место,— извини за выражение, Надя,— и на тот свет. А куда же?!

— А на-днях они тут листовки бросали,— опять сказал Трубилов.— Листовка и к ней— конфетка или же кусок колбасы и белая булка. Сдавайтесь, мол, будем кормить вас конфетами. Самим, сволочам, жрать нечего, а тоже сулят. Я вчера пленных видал, так они просто трясутся, когда на хлеб смотрят. Говорят, пять дней не ели...

Где-то опять загремели пушки. Афонька прислушался и авторитетно сказал:

— Наши.

Надя Хмелева сказала:

— Хотите, ребята, я могу вам погадать? У кого какая линия жизни.

Все по очереди стали протягивать ей свои ладони. Она придвигала к ним свечку и каждому говорила его судьбу.

Аркаше, чью очень красивую руку она долго держала в своей, было сказано:

— О-о, ты, Аркаша, наверно, до ста лет проживешь. У тебя прямо чересчур длинная линия...

— А у меня?— спросил Афонька.

Надя развернула его заскорузлую ладонь.

— Все равно ведь правду не скажешь,— усомнился он.— Знаю я вас, ворожеек. Не скажешь?

— Почему? — обиделась девушка, разглядывая его ладонь. — Я бы сказала, но у тебя рука-то какая...

Афонька взглянул на свою руку и сказал:

— Действительно. — И сконфузился.

Надя предложила погадать и Воистинову, но он сказал, что и так знает: еще лет сорок проживет.

А Мите Попову очень хотелось узнать о себе, но он почему-то стеснялся.

— Я в ворожбу не верю, — сказал он, хотя и ему было очень соблазнительно узнать, какая у него линия жизни.

Надя так и ушла, не погадав ему.

«Жалко, что не погадала», — думал он и на следующий день, и даже много позднее, вспомнив, снова пожалел.

После первого боя он дня через три уже хотел снять перевязки, но не разрешили. Участвовал, еще перевязанный, в двух или трех мелких перестрелках. Но первый бой как бы укрепил его в некоторых убеждениях, сложившихся еще раньше. Он, например, был уверен теперь, что в бою все зависит от сноровки и что в следующих таких же боях его не только не убьют, но даже ранят, может быть, не столько раз, как в первом, а меньше.

Убеждение это, однако, сложилось не оттого, что война показалась ему легкой. Нет, война оказалась даже труднее и строже, чем он раньше представлял ее себе. Война оказалась страшной. Страшнее, чем он думал. И ко многому здесь он все еще не мог привыкнуть. Он не мог, например, сначала приучить себя не просыпаться по ночам, когда шел артиллерийский обстрел и когда все-таки можно было и надо было спать, потому что в следующую ночь, может быть, совсем не придется уснуть. Все спали, а он сидел на влажной соломе, раздумывая, надевать сапоги или обождать, и тревожно смотрел в темноту, где вздыхали, храпели и ворочались во сне товарищи. Они как бы торопились выспаться за эти краткие часы, и утром они выглядели бодрыми, свежими, а ему по утрам хотелось спать, но спать уже было нельзя.

Надо было действовать, бодрствовать, всегда быть готовым ко всяким неожиданностям.

Ночью в землянке на влажной истоптанной соломе было холодно.

Печка нагревала землянку, только когда топилась, потом скоро остывала, холодела, и от нее, похолодевшей,

становилось еще холоднее, а топить печку можно было не всегда.

Митя Попов спал сначала, не раздеваясь, не снимая даже шинели, но Воистинов, старый солдат, сказал, что лучше снимать с себя все, когда ложишься.

— Это первое дело, раздеваться, — сказал Воистинов. — И вошь на тебе тогда не поселится, и теплее тебе будет.

Митя попробовал спать, только прикрывшись шинелью. Оказалось, действительно теплее. Ноги только надо получше укутать.

— Привыкнешь, — говорил, постоянно приглядываясь к нему, Воистинов.

И Митя сам знал, что привыкнет. Привыкли же другие. Все это пустяки, не главное. Главное — приловчиться, — говорил тогда старик на шоссе, когда они ехали сюда в грузовиках.

Митя был уверен, что он скоро привыкнет, приловчится, и у него все пойдет по-хорошему. Обязательно все пойдет, как надо. Уж он просто так тут не погибнет. Не такой парень...

И все-таки его интересовало: какая же у него линия жизни? Еще важнее было узнать, что думают о нем товарищи, видевшие, как он дрался тогда, в первом бою.

Но никто об этом не вспоминал..

Только Воистинов сказал:

— Нет, ты еще не медведь, Митрий. Нет. Горяч больно. А для чего горячиться? Пусть они горячатся, немцы. А ты бей их по башкам и помалкивай. И главное — гляди в оба.

И повторял:

— Гляди в оба. Во все стороны гляди и прямо.

«Видно, я чего-то делал не так, — думал Митя. — И сержант тогда оставил меня для связи, а потом забыл про меня. В чем-то я, наверно, промазал...»

Митя Попов жил на войне, как бывало работал на заводе. И там было трудно сначала. И тут трудно. Но он тут, так же, как и там, хотел сразу же добиться особой сноровки, хотел понять все секреты нового для него дела. Он, никогда не мечтавший о военной карьере, вел себя так, как будто собирался стать генералом. Хотел понять сразу все, и даже то, что понимать ему пока было вовсе не обязательно.

Но разве можно точно узнать, что пригодится на войне? Инженер Кателин читал какие-то военные книги. Митя попросил у него одну. Это были мемуары маршала Фоша. И Митя Попов решил, что лучше, чем попусту терять время у печки, прочитать эту толстую книгу. Вечера в три он ее, наверно, прочитает, если будет свободное время.

Раньше его интересовала теория резания, и он читал популярные технические книжки. Ну, а раз теперь война и он на войне, он будет читать военные книги. Все равно ведь надо учиться...

Однажды, когда он сидел вечером около печки, развернув на коленях сочинение маршала Фоша, дверь землянки приподнялась, и вошел сержант, тот самый, который вел их в первый бой.

В землянке был только один Митя, но сержант не сразу разглядел его в полутьме и спросил, будто здесь было много народу:

— А кто у вас тут, ребята, Попов?

— Я Попов, — сказал Митя.

— Я хотел с вами поговорить, — и, сержант, похоже, немножко смутился: — Помните меня?

— Помню, — сказал Митя. — Ну как же...

Он-то помнил сержанта. А вот как сержант его не забыл? Запомнил даже фамилию — Попов.

— А мне фамилия — Антон Хромых, — сказал сержант.

И потом заговорил о деле. Он теперь будет заниматься особой разведкой в тылах противника. У него будет небольшой отрядик, человек так семь-восемь, и ему решили самому подобрать их.

На взгляд сержанту было лет двадцать, ну от силы двадцать один год. Он, пожалуй, старше Мити года на два, на три, но у него уже была командирская, подтянутая фигура и командирская манера говорить.

Митя вспомнил, как в бою сержант начинал подавать команду вдруг не своим, но властным и требовательным голосом, а в жизни он разговаривал просто. И просто он сказал Мите:

— Хотите, будете работать в разведке?

— Все равно, — почти равнодушно сказал Митя, чтобы никак не выдать своей радости. И как бы между про-

чим добавил: — Я вообще-то минометчик. Учился. Но из миномета по-настоящему еще не стрелял.

— Вот отобьем у немцев миномет, — сказал сержант, — будете стрелять из миномета.

— Хорошо, — сказал Митя.

— Тут еще из ваших ребят я хотел взять кого-нибудь, — сказал сержант. — Только я фамилии их не знаю.

— У нас хорошие ребята, — сказал Митя.

Утром сержант скомплектовал весь свой отрядик, в который, помимо других, вошли Трубилов, Воробьев, Шелконогов и даже Воистинов. Не вошел вначале в отряд только Аркаша Девятин. Но Митя спросил его:

— Ты хочешь в разведку?

— Я с удовольствием бы, — сказал Аркаша. — Ты сам знаешь, я люблю риск.

Аркашу тоже взяли.

Не прошло еще и двух недель после того, как Митя Попов приехал на войну, но теперь иногда ему казалось, что он приехал сюда уже давно-давно, и давно был первый, памятный, бой, в котором ранили его и окрестили в купели сурового солдатского опыта.

Опыт этот, хотя и небольшой пока, оберегал его теперь, наполнял уверенностью и пробуждал законную гордость.

Впрочем, такую же гордость испытывали каждый день и его ровесники, разведчики, бродившие вместе с ним по темным, осенним лесам, по тылам врага под командой лихого сержанта, их сверстника, Антона Хромых.

Их поколение вступило в жизнь, когда ушли уже в легенду и уличные бои Великой революции и отгремели выстрелы Гражданской войны.

Даже война с белофиннами, прошедшая совсем недавно, застала их еще на школьной скамье.

Они были еще маленькими мальчиками, когда ближайшие их предшественники, восемнадцатилетние комсомольцы, вместе с отцами и братьями их становились знаменитыми ударниками, героями гигантских Кузнецкстроев и Днепрогэсов, Уралмашей и Магниток.

Они тогда только мечтали о героической жизни, эти вчерашние школьники, подраставшие в героической стране. И вот теперь перед ними раскрылось поле битвы...

Задумчивые, они входили на рассвете в темный лес.

Они возвращались усталые и счастливые после удачной

разведки, чтобы завтра в сумерки снова пойти по вражеским тылам.

Опасная работа возбуждала их.

Пройдут годы, десять, двадцать лет пройдет, и о них, может быть, станут вспоминать и думать так же, как они думали о людях Гражданской войны. И кто-то будет завидовать им. И они сами, наверно, будут удивляться в старости тому, что было: было давно-давно, когда они были молодыми.

Однажды, на рассвете, после разведки, входя в безопасный лес, Аркаша Девятин прочитал красивую строчку из старых стихов:

«На заре туманной юности...»

И многие парни, совсем не сентиментальные, попросили его списать им эти стихи. Даже сержант Антон Хромых, человек неразговорчивый, похвалил стихи и спросил заинтересованно, чье это сочинение. Аркаша прочел еще стихи. После стихов вдруг прошла усталость.

А усталыми разведчики возвращались постоянно. Приходилось много бродить, много ползать по-черепашьи на животе. И если приходилось долго лежать где-нибудь в укрытии, выжидая, выглядывая врага, напряжение этих ожиданий стоило многих километров пути.

Один раз они чуть ли не целые сутки пролежали в холодном болоте, грея руки дыханием и мечтая хоть о какой-нибудь еде, но все было съедено еще накануне.

Питанием в походе у них ведал, главным образом, Воистинов, и поэтому они редко бедствовали.

Никто так не умел разговаривать в деревнях, особенно с бабами, как Воистинов, никто не мог так затронуть их за сердце, собрать все нужные отряду сведения и промыслить насчет продовольствия.

— Приходите еще, — говорили, провожая его, бабы. — Уж больно вы хорошо объясняете, что к чему. Приятно даже послушать...

И ему совали в мешок и мясо, и хлеб, и картошку.

— Берите, берите, — говорили ему, когда он отказывался: очень много. — Пушай лучше свои съедят, на общее дело, чем эти вшивые дьяволы. Истомились мы все, милый человек.

Бабы плакали, жалуясь ему. И сообщали все, что было им известно о расположении вражеских войск, и брались собрать новые сведения к его приходу.

Отряд ходил по тылам, высматривал, выслеживал, нарушал связь между штабами и даже нападал на штабы и штабные машины, ходившие по дорогам глубокого вражеского тыла.

Иногда случалось отряду вступать в короткие схватки с противником, принимать неравные бои. Но чаще отряд без единого выстрела делал все, что надо было ему, и невредимым возвращался в свой штаб.

В лесах еще пахло грибами, хотя первые предзимние холода уже изжелтели траву и утром трава была в белом инее.

До свету отряд отправлялся в поход и в темноте возвращался, пропутешествовав иногда дня два-три.

Немцы, остановленные на дальних подступах к столице, готовили новое наступление, стягивали резервы, подвозили вооружение. И тут отряд сержанта Антона Хромых, разгадывая замыслы противника, разведывая его тылы, делал многое. И каждый в отряде чувствовал, что он выполняет важное и очень ответственное дело.

— А если что-нибудь случится, — говорил сержант, — вы сами понимаете, живыми мы не дадимся. Пусть и не надеются немцы...

И вот на второй или на третий день после того, как были сказаны эти слова, на рассвете, в час, когда отряд уже совсем был близок к своему штабу, их заметила около деревни большая группа немцев, вышедшая из леса. И сержант Антон Хромых тоже заметил немцев. И еще он заметил в шагах тридцати от себя неглубокую яму, метра, должно быть, в полтора глубиной, квадратным пятном черневшую близ дороги.

Он бросился к этой яме и скомандовал:

— За мной!

Митя Попов пополз за ним. Немцы уже открыли огонь. Успеют ли остальные разведчики добраться до окопа?

— Аркадий! — крикнул Митя.

Но вместо Аркадия приполз Афоня Воробьев, потом Воистинов и Петя Щелконогов, позади полз Пашка Трубилов.

— Все здесь? — спросил, не оглядываясь на яму, а наблюдая за немцами, сержант.

Немцы походили в полутьме на разрозненное стадо

каких-то странных животных, осторожно крадущихся к добыче.

— Нет еще, не все, — ответил Митя, разглядывая сидевших в яме.

Где-то на дороге застряли еще четверо и среди них Аркаша Девятин.

— Аркадий! — опять крикнул Митя.

Приполз еще один боец — Алтухов, но Аркаши не было.

— Подождите стрелять, — спокойно сказал сержант, увидев, как устраивается с пулеметом у края ямы Афанасий Воробьев. — Пусть немцы подойдут ближе.

— Есть подождать, — весело повторил Воробьев. Он явно оживился, увидев немцев. На этот раз его покинула сдержанность разведчика. Он даже не думал о том, что их, разведчиков, здесь в этой неглубокой яме всего семь человек, а немцев, может быть, больше сотни.

Немцы уже бежали по полю в предрассветной, сизовой мгле.

А Девятин все еще не было. Где же он?

— Аркадий! — еще раз крикнул Митя и хотел уже выбраться из ямы, чтобы выручать дружка, когда тот наконец вкатился в яму.

— Я ведь не один. У меня пулемет. — сказал Аркаша.

— Нас восемь, — подсчитал Митя.

Приползли еще двое — Усманов и Андронников.

— Нас десять, — сказал Митя. И, взяв у Аркаши пулемет, стал устраивать его в правом углу ямы.

Немцы были уже совсем близко. Видно было офицера, бегущего впереди. Офицер кричал, как будто просил подождать его, как будто он опаздывал к поезду:

— Айн момент! Айн момент!

Было видно цвет его шинели и погоны. Он был совсем близко. И вот теперь он крикнул:

— Рус, сдавайте! Сдавайтесь...-

— Сейчас сдадим, — сказал Афонька. И, озорно взглянув на сержанта, спросил: — Разрешите, товарищ сержант, на одну минутку? Я их сейчас сфотографирую, этих нахалов.

— Дуй! — просто сказал сержант.

Афонька выпустил в немцев длинную очередь, и офицер немедленно стал похож на птицу, которая желает улететь, но улететь не может. Он широко взмахнул ру-

ками, подпрыгнул и тяжело упал, чтобы больше никогда не вставать.

Около него попадали десять — пятнадцать солдат. Но остальные сейчас же залегли.

Воистинов присел у пулемета, который приволок Аркаша Девятин.

— Ну чего, ждать будем, что ли, когда подойдут, или начнем чесать? — спросил он у сержанта, явно томясь в бездействии.

Митя Попов, сожалеющий, что у разведчиков нет миномета, держал автомат. И Павел Трубилов держал автомат. Автоматов было всего два. Остальные держали винтовки.

— Нам не к спеху, — ответил после долгой паузы сержант. — Можем и подождать. Пусть подходят.

И немцы действительно подошли, но только с другой стороны, со стороны деревни.

Воистинов повернул в эту сторону пулемет. Он теперь терпеливо ждал их.

— Рус, сдавайся!

— Опять одно и то же кричат, — сокрушенно сказал Воистинов. — До чего народ глупый. И нервные какие. Уж сейчас сразу и сдавайся...

Немцы быстро приближались со стороны деревни, и на поляне тоже поднялись немцы.

— До сумерек, наверно, не управимся, — сказал Воистинов, поглядев на них. — Народу больно много.

Немцы кольцом окружили яму и опять закричали:

— Рус, сдавайся!

— Ну, я сдаюсь, — смешливо сказал Афонька Воробьев. — Я больше не могу. Так просят. так просят. У меня терпенье кончается.

— Огонь! — скомандовал сержант.

Немцы опять залегли, оставив на поляне и около деревни несколько трупов.

Митя Попов смотрел на опушку леса, где началось какое-то движение. Наконец он понял: немцы разворачивают пушку.

— Товарищ сержант, пушку, по-моему, разворачивают, — сказал Митя.

— Миномет они разворачивают. Два миномета, — ответил сержант, глядя в сторону деревни, где также было заметно движение.

— Третий миномет, — сказал он.

— Все-таки какое внимание они нам оказывают, — сказал Афонька Воробьев. — Хотя и воры и сволочи, но культурная нация. Глядите, против десяти человек сколько народу собрали и три миномета. Я уверен, еще минутка и дальнобойную артиллерию привезут.

Он смеялся, но зубы стучали у него. Нервная дрожь была худенькое беспокойное тело его.

Аркаша Девятин стоял у края ямы и задумчиво смотрел в лес. В руках у него была винтовка, из которой он два раза уже выстрелил.

— Убил кого-нибудь? — спросил его Митя. — Или не заметил?

— Не заметил, — сказал Аркаша. — Может быть, и убил.

— Надо метиться, Аркадий, — посоветовал Митя. — У нас не так уж много патронов. Имей в виду...

Митя хотел еще что-то сказать, но заговорили немецкие минометы. Красный огонь и взрывы.

Взрывы были еще далеко от ямы, но они приближались, и под прикрытием минометов немцы снова пошли в атаку.

— Огонь!

Навстречу им из ямы снова хлынул горячий металл. Немцы упали. И снова пошли, потому что минометы должны были сделать свое дело.

— Огонь! — командовал Антон Хромых.

И опять били из ямы пулеметы, винтовки и автоматы. Но вдруг боец Усманов качнулся, поднял винтовку и, перебросив ее через голову, упал на дно ямы.

Афонька Воробьев больше не шутил. Он прильнул к своему пулемету и еле успевал менять диски.

Антон Хромых смотрел на небо: то ли от палбы так быстро светает, то ли это законно наступает рассвет. Надо успеть до рассвета выслать бойца в штаб, чтобы сообщить о пиковом положении. И если весь отряд погибнет до подхода подкрепления, боец все-таки передаст в штаб важные сведения о сегодняшней разведке. Но бойца могут по дороге убить. У самой ямы могут убить. Надо смелого послать, самого ловкого. Лучше двоих. Кого послать? Попова? Нет, Попов тут нужен.

— Щелконогов, — сказал сержант голосом официальным, не похожим на его обычный голос. — Пойдете

в штаб. Передадите наши сведения о враге... Ну... — сержант помедлил. — Ну, и объяснишь там, мол, так и так, — добавил он неожиданно просто, по-свойски. — Положение, мол, пиковое. Помятно?

— Понятно, — сказал Щелконогов и стал приглядываться, с какого края ему лучше выползти из ямы незамеченным.

— Ну, дуй, Петя, давай скорее. Светает... Счастливо. Петя... — взволнованно проговорил сержант и, поймав его руку, пожал крепко.

— Будет сделано, товарищ сержант, — сказал Петя и, выдвинув впереди себя винтовку, быстро пополз из ямы.

Через минуту сержант послал вслед за ним бойца Андронникова.

Андронников выполз из ямы в полной тишине.

На поле вдруг наступило минутное затишье.

И в эту минуту немцы опять закричали:

— Рус, сдавайся!

— До чего нервные, — опять сказал про немцев Воистинов. — И орудия у них, и патронов много, а нервов настоящих нету.

Опять послышалось отвратительное дребезжанье и кваканье мин.

Мины разрывались теперь почти у самого края ямы, и в шум разрывов все чаще врывался треск немецких автоматов.

Первым ранили Аркашу Девятина: пуля попала ему в кисть правой руки.

Митя Попов сейчас увел его на середину ямы, усадил на дно, перевязал и тревожно ощупал всего, нет ли еще ранений. Ранений больше не было. Митя вернулся на свое место.

А Аркаша остался пока сидеть на дне ямы, еще более грустный и задумчивый, чем в начале боя.

Вскоре отвалился от края ямы и упал, раненный в голову, Трубилев.

Из ямы стреляли все реже и реже. И только Афонька Воробьев неистовствовал. Он бил и бил из своего пулемета, быстро сменяя диски.

Воистинов стрелял спокойно и размеренно.

Но вот вздрогнул вдруг Афанасий Воробьев и медленно скатился на дно.

— Попали все-таки, — сказал он еле слышно и, положив правую руку под голову, перевернулся на бок. Затих, как уснул.

Сержант занял его место. Пулемет еще был в полной исправности. Можно было стрелять.

Но сильный разрыв оторвал край ямы в том месте, где стоял пулемет Воистинова. Земля взлетела веером, и вместе с землей упал на дно ямы, будто сдунутый ветром, Воистинов.

Митя Попов стал выгаскивать засыпанный землей пулемет Воистинова.

Немцы прекратили на минуту обстрел и опять закричали:

— Рус, сдавайся!

Пашка Трубилов, все время лежавший недвижимо на дне ямы, вдруг поднял голову из лужи собственной крови и сказал хрипло:

— Ни за что. Слышишь, Митька? Ни за что не сдаваться. Не возьмут они нас. Они — дермо. Слышишь?

— Слышу, — ответил Митя. Он продолжал выгаскивать пулемет Воистинова и прислушивался к стрельбе.

Где-то слева, с той стороны, где проходила линия нашего фронта, послышалась частая стрельба, и в стрельбу ворвался неясный шум голосов.

Может быть, это Щелконогов повстречал уже наших и ведет их на выручку?

Шум голосов усиливался, и ожесточеннее становилась стрельба. Потом опять все затихло.

Около Мити вдруг зашевелилась земля. Из кучи свежей земли показалось колено. Наконец Воистинов высвободил из-под земли окровавленную голову и стал плевать. Он выплевывал землю и кровь вместе с землей.

— Вот, — сказал он, — Митрий. Вот за эту вот землю и воюем. — Он мотал головой, как мотает конь, отбиваясь от мух, и разгребал землю вокруг себя. — Вот за эту горькую, сладкую землю.

— Рус, сдавайся!

Немцы с одной стороны почти вплотную подошли к яме, и сержант полил их горячей струей из пулемета.

— Это в память о лихом пулеметчике, об Афанасии Ивановиче Воробьеве.

И опять слева, с той стороны, где наш фронт, послы-

шалась частая пулеметная стрельба, и в стрельбу ворвался неясный шум голосов.

— Может, это в самом деле Петька Щелконогов уже ведет наших на выручку?

— Продержаться бы еще минутку.

— Может быть, это наши с фланга бьют немцев.

Но тотчас же Митя понял, что ошибся. Нет, это пока не наши. Это немцы с двух сторон ответили сержанту ураганным огнем.

Огненный ливень накрыл яму.

— Ну, теперь мы пропали. — громко, обреченно сказал Аркаша Деятин и стал на колени. — Все кончено...

Митя оставил пулемет и бросился к Аркаше. Он крепко взял его за плечи и силой снова посадил на дно.

— Что ты, Аркадий? — испуганно сказал Митя.

Мите вдруг стало страшно и стыдно за него. Ведь еще не умер Павел Трубилов. Жив сержант. Воскресает Воистинов. Может быть, еще слышит Афонька Воробьев. И кто знает, может быть, скоро подойдут наши...

Воистинов высвободил уже ноги и смотрел на свой пулемет.

Митя подполз к Воистинову.

— Подожди, дядя Костя. Я сам его поставлю... Я тебя сейчас перевяжу...

Митя поднял пулемет и в этот момент почувствовал, как вдруг сдавило сердце и в груди стало горячо-горячо, и что-то горячее полилось под рубашкой.

Митя, не понимая, что происходит с ним, сел на землю.

Было больно. Он лег, вытянулся, голову положил на бугорок и стал руками разрывать гимнастерку. Было душно.

Где это так же человек разрывал себе грудь? Ах, да! Вспомнил. Это было в том первом бою, около чаши. Человек разрывал себе грудь перед смертью.

Значит, он умирает? Уже умирает... И в землянке так и останутся около печки, за камнем, не дочитанные им мемуары маршала Фоша, завернутые в газету «Вечерняя Москва». Обидно...

Зачем-то бухгалтер сказал ему: «Стыдно мне перед вами, Дмитрий Васильевич».

А бабушка сказала: «Мы слава богу, русские люди. Куда же мы из своей земли бежать-то будем?»

А старик на шоссе, одноногий, Михеев Егор Егорыч, кричал им, когда они ехали на грузовиках: «Он вам петлю будет делать, а вы ему две делайте. И не бойтесь. Против русских он не может».

И вспомнилось, как бабушка маленькому ему говорила, показывая фотографию его отца: «Гляди-ка, Митенька, папа-то твой. Какой был красавец».

Потом вдруг сразу Митя вспомнил свою гитару. Он тут, а девчонки соседские там, может быть, играют на его гитаре. «Ты ушел, и твои плечики ушли в ночную мглу...»

А он даже встать не может.

Но он встанет. Полежит еще немного и встанет.

И тут же он вспомнил, как он скакал по утрам в пустынном коридоре верхом на палке. Он маленький был тогда.

А сейчас он большой и воюет. И Пашка Трубилов крикнул ему перед смертью: «Ни за что». А Воистинов сказал: «Вот за эту горькую и сладкую землю».

Митя лежит на этой земле.

Нет, он не умрет. Он сейчас встанет, хотя ему трудно. Но почему это так душно? Октябрь, холод, а ему душно. Надо расстегнуть гимнастерку. И Митя хочет расстегнуть.

Но его сейчас привлекает другое.

Аркаша стал на колени.

Вот уже он стоит на ногах и размахивает руками. И в руке у него что-то белое.

Что это такое? Ах, да! Это белый бинт, которым ему перевязал руку Митя. И Аркаша размахивает этим бинтом.

А наши все еще не подходят.

Может быть, убили по дороге Петьку Щелконогова и Андронникова.

Мите становится еще более душно, и сердце сдавлено так, что вот-вот оно расплывется. Боль такая, что нельзя пошевелиться.

Но сержант стреляет. Значит, все в порядке.

Жаль только, что сержант не видит Аркашу.

Аркаша стоит у него за спиной, высокий, выше сержанта, и размахивает белым бинтом.

Нет, Митя не умер. И не может умереть. Не должен.

Превозмогая боль, он садится, прислоняется спиной

к стенке ямы, вынимает из-за пояса тяжелый трофейный пистолет, долго метится, вкладывая в это всю душу, всю жизнь, все желание жить, и наконец стреляет в голову, в висок Аркаши Девятина.

Девятин медленно подгибает колени, хочет, наверное, сесть, но падает.

Мертвые могут только падать.

Воистинов и сержант оглядываются на выстрел. Они молчат. Потом сержант опять поворачивается к пулемету.

А Воистинов смотрит на мертвого Девятина, потом на Митю. Он ничего не говорит. Он только смотрит.

Глаза у Воистинова большие, светлые, по-детски наивные, но без обычной хитрецы. Он смотрит. И думает о чем-то.

На эту думу потрачено мгновение, но кажется оно бесконечным.

Может, он вспомнил в это мгновение, как жили эти парни. Ведь он видел, как они жили. И видел, как Надя Хмелева гадала им, у кого длиннее линия жизни.

Глупая девочка, разве главное в том, чтобы жизнь была длиннее?..

Потом Воистинов повернулся опять к своему пулемету.

А сержант Антон Хромых все стрелял и стрелял...

Вот об этом я и хотел написать.

О парнях, которых нельзя победить даже, когда они умирают.

О сержанте, который все стрелял и стрелял.

Было это за Можайском, по ту сторону Можайска, около одной из затерявшихся потом в снегах деревень.

Было это в тысяча девятьсот сорок первом году, глухой осенью, на рассвете.

Ноябрь 1941 года.

## ДОМ ГОСПОДИНА ЭШКЕ В ГОРОДЕ ВЕНЕВЕ

Большой бревенчатый дом стоял в глубине двора, в переулке, укрытом ветвистыми тополями, и не всякий прохожий заметил бы его, особенно в сумерки, особенно в метель, когда мокрый снег залепляет все на свете и слепит глаза, и сбивает с пути.

Но обер-лейтенант Фердинанд Эшке, пропустив впереди себя дребезжащий обоз, остановился именно около этого дома и по-хозяйски уверенно повернул кольцо калитки.

Взъерошенный, страшный пес, оскорбленно залааяв, рванулся ему навстречу.

Обер-лейтенант расстегнул было кобуру, но тут же заметил, что пес на цепи, и спокойно пошел дальше, оставляя в пушистом снегу глубокий след тяжелых, кованых сапог.

Похоже было, что в доме никто не живет.

Высокое крыльцо было завалено снегом, ставни закрыты, а маленькое окошечко в дубовой двери затянуто морозным инеем.

Обер-лейтенант все-таки постучал. Он постучал раз и два, потом гневно ударил сапогом в дверь и, наконец, услышал мягкие шаги за дверью.

— Вам кого? — тихо, без удивления, спросил старик, осторожно высунувшись в чуть приоткрытую дверь.

— Здравствуйте. — вежливо и настойчиво сказал обер-лейтенант и так же вежливо и настойчиво, отодвинув старика, вошел в переднюю, в полутьму и тепло чужого жилища.

Больше спрашивать было не о чем.

В город вошли немцы, и старик, стоявший у входа в столовую, приготовился ко всему. Он не удивился бы, если б немец выстрелил в него.

Но коротконогий, толстолицый немец улыбался и пристально и молчаливо, как оценщик, рассматривал мебель, стены и самого старика, обутого в мягкие войлочные туфли.

В столовой попрежнему стоял длинный стол, за которым недавно еще собиралась большая семья: два сына, три дочери, зять и племянник — агроном, приехавший из деревни погостить к дяде в город Венев.

А теперь все разъехались. Оба сына и дочка — фельдшерица уехали на войну в первые же дни, зятя недавно ранили, две дочери поехали к нему в госпиталь, да там и остались санитарками, а где племянник — этого никто не знает.

Говорили, будто ушел он к партизанам. Может быть, и в самом деле ушел. Многие ушли.

Остались только старик со старухой.

И вот сейчас немец шагает по их дому, по теплым комнатам, где они прожили почти сорок лет.

Дом этот сколочен собственными руками, вот этими все еще крепкими руками потомственного плотника.

Взрослые дети помогали утеплять этот дом, благоустраивать его. Посадили фруктовый садик во дворе, каждую весну обмазывали стволы деревьев известью, каждую осень обматывали их тряпьем и рогожей, чтобы мороз не потревожил, чтобы заяц не обгрыз.

Постепенно завели корову, козу, гусей и посадили сторожить имущество свирепого пса Баритона.

Все было свое, нажитое, заработанное.

А сейчас — странное дело — ничего не жалко старику Бахмачеву, и только противно, что чужой человек, чужеземец, трогает руками его, старика, добро и на толстом немецком лице шевелится улыбка, ненужная для грабителя и очень обидная для хозяина.

Может, немец из вежливости улыбается, хочет показать, что они — культурный народ. Ну, и пусть показывает. Пес с ним.

Немец вертит в руках крошечные валенки покойного внука. Дед отворачивается. Противно ему до боли смотреть в этот момент на немца. И зачем тут оказались валенки внука?

Потом немец снимает с вешалки шубу самого старика. Шуба немцу, должно быть, нравится. Он щелкает языком. Примеряет ее. Она великовата ему.

Но он все-таки, видимо, думает взять ее и говорит старику, что, если сюда, когда он уйдет, явятся немецкие солдаты, следует им сказать, что эта шуба принадлежит ему, обер-лейтенанту Фердинанду Эшке.

И тут же он замечает велосипед. Хороший велосипед. Племянник обычно ездил на нем из деревни в Венев. Немец говорит:

— Эта машина имеет господин Эшке.

— Это же племянника велосипед, — объясняет старик. — Шуба моя. Я тебе ничего не говорю. Бери. А это племянника вещь. Понятно?

— Молчать! — вдруг закричал немец. — Я сказала. Этот машина есть собственность господин Эшке.

— Ну, пес с тобой, — сказал старик. — Ешка, так Ешка.

Он терпеливо молчал все время, пока немец осматривал и ощупывал вещи и приказывал говорить о каждой, что она принадлежит господину Эшке.

Наконец немец заинтересовался портретами на стене.

На один портрет он долго смотрел, потом спросил:

— Это кто? Ватер? Ойтец?

— Это Гегель, — сказал старик.

— Кто?

— Гегель.

— Что есть Гегель?

— Ну, это я тебе в точности не могу объяснить, — сказал старик. — Это дочка моя тут его повесила. Ученый он у вас какой-то. Гегель. Дочка моя в институте его изучала. И вот повесила тут. Из уважения.

— Коммунист? — сердито спросил Эшке.

— А кто его знает, — сказал старик.

Обер-лейтенант заорал, замахнулся на старика, но не ударил, а только толкнул и приказал сейчас же снять портрет.

Нерасторопность старика раздражала обер-лейтенанта.

В конце концов он сам сдернул со стены портрет и растоптал его ногами.

— А может, и не коммунист, — сказал старик. — Темный человек что угодно может растоптать.

Немец вошел в спальню.

На большой двуспальной кровати лежала старуха. Немец сдернул с нее одеяло. Он чего-то испугался вдруг и спросил тревожно:

— Чей женщина?

— Жена моя, — сказал старик. — Хворает. Вот я при ней и нахожусь.

Немец со всех сторон осмотрел кровать, осмотрел даже все под кроватью, снова потрогал одеяло и почти задумчиво сказал:

— Эта кровать имеет собственность господин Фердинанд Эшке. — И вдруг закричал: — Убирайт женщина! Нельзя здесь женщина.

— Хворает же она. Я тебе объясняю, — сказал старик. — Куда же я ее, больную; дену?

Но немец продолжал кричать:

— Убирайт женщина! Убирайт!

Видимо, он сам боялся захворать, что ли. Иначе старик Бахмачев никак не мог объяснить поведение немца.

Немец вышел из спальни.

Он теперь хотел осмотреть хозяйство. Он побывал в коровнике, в курятнике. Осмотрел все тщательно.

Потом долго со двора осматривал дом и после осмотра сказал старику, что всем, кто спросит, надо говорить, что это дом господина Эшке, что в этом доме живет господин обер-лейтенант Фердинанд Эшке.

Все ему, должно быть, понравилось: и корова, и коза, и гуси, и пес Баритон.

Обер-лейтенант был очень доволен, что оказался предусмотрительным и в первую минуту не застрелил злую собаку. Именно злая собака должна охранять его, господина Эшке, дом.

Боялся только, видимо, Эшке, как бы другие немцы не захватили это облюбованное им жилище.

Ведь не напрасно, опередив всех квартирьеров, он явился сюда. Все вещи должны принадлежать только ему одному. А тут много хороших вещей. Наконец-то Луиза будет довольна...

Осмотрев все, Эшке сказал, что он сейчас уйдет, но через час, через два придет снова.

Поэтому старик должен все сохранить до его прихода в полном порядке.

За это, господин Эшке обещает ему не убивать его, старика.

Но, если старик ослушается, господин обер-лейтенант вынет вот эту штуку...

Немец похлопал по кобуре и, улыбувшись, сказал:

— Пиф-паф!

— Ужас, как ты меня напугал, — сказал старик. — Ну, стреляй!

— Я тебя знайт, старик! — закричал вдруг с визгом господин Эшке. — Я тебя знайт! Я знайт, где твои дети...

Об этом, конечно, не мог знать господин Эшке, но он уже привык так пугать каждого старика, встреченного то ли на дорогах Польши, то ли на дорогах Франции, то ли на дорогах России. Он привык пугать.

Через час он явился снова в сопровождении рослого, медлительного солдата.

Унылый этот детина всю ночь занаковывал посылки, запихивая в мешки добро старика Бахмачева.

А сам обер-лейтенант сидел около солдата с блокнотом и карандашом и тщательно записывал каждую вещь, боясь, как бы при упаковке солдат не стащил чего-нибудь.

Старик Бахмачев при этом не присутствовал. Он сидел в темной комнате около больной жены, перенесенной сюда из спальни, и все говорил ей одно и то же, успокаивал ее:

— Ничего. Кладья... Ничего. Все равно Москву они не возьмут. Никогда не возьмут. Не могут...

И похоже было, что имущество этих стариков, все их достояние, нажитое за всю жизнь, находится не здесь, в этом домике, а где-то в Москве. Не попадет туда немец. Никогда не попадет.

— Всё считают, — сказала старуха, прислушиваясь к чужому говору в соседней комнате. — Наше считают. Наше добро, Федя.

— Пусть считают, — сказал старик. — Пусть считают. Он вышел на кухню, чтобы принести жене попить, и, проходя через столовую, увидел много тюков.

Немцы прервали на минутку свое занятие, и обер-лейтенант, пристав со стула, стал объяснять старику, что все это делается в его, старика, интересах, и тюки запаковываются в его интересах, и в его же интересах дом становится собственностью господина Эшке.

Могло бы быть хуже, если б этим занялись немецкие солдаты. Было б много хуже...

— Да бери ты, бери. — брезгливо успокоил его старик. — Раз ваша взяла, бери. Ну, а когда наша возьмет, тоже не жалуйся.

— Молшать! — закричал немец, не поняв, но дога-

давшись, что старик сказал что-то очень обидное для германской армии. — Я тебя знайт, старик.

После этого разговора немец распорядился, чтобы старик больше никогда не появлялся перед его, господина Эшке, глазами. Пусть, пока больна старуха, он сидит с ней в этой маленькой комнатке. А когда старуха поправится, они должны уйти отсюда навсегда. Навсегда уйти. Иначе господин Эшке объявит их партизанами, и тогда их вздернут где-нибудь на площади в назидание другим. Вздернут на фонарь.

Больше старик Бахмачев и в самом деле ни разу не появился перед глазами обер-лейтенанта. Он выходил из темной комнаты только в часы, когда обер-лейтенант отсутствовал.

Все в доме делалось без ведома старика, будто его вовсе тут не было никогда.

Унылый Карл, похожий на гигантскую плохо разрисованную куклу, каждый день по приказанию обер-лейтенанта входил в гусятник и отрубал голову очередному гусю.

Потом он жарил его на кухне, распространяя удушливый чад на всю квартиру, и ждал обер-лейтенанта к обеду. Он же доил корову и кипятил воду для господина Эшке.

Баня в городе не работала. И господин Эшке никак не мог отмыться после многодневного марша. Он мылся каждый день, усаживаясь в детскую цинковую ванну, но вши попрежнему заедали его.

Наконец Карлу посчастливилось найти где-то большое деревянное корыто. Он наготовил для него кипятку, и обер-лейтенант впервые смог погрузить все свое исчезавшее тело в горячую благодатную воду.

Он мылся долго, чмокал, вздыхал, отфыркивался, потом вытерся насухо мохнатой хозяйской простыней, натянул теплые стариковские подштаники, надел шелковую сорочку зятя, выпил несколько рюмок водки, плотно закусил и лег спать.

На широкой двуспальной кровати хозяев уверенный господин Эшке почему-то всегда чувствовал себя не уверенно. Перед сном он обязательно осматривал всю кровать, заглядывал даже под матрац и, убедившись, что ничего подозрительного вокруг нет, все-таки звал Карла.

— Карл, твой начальник поручает тебе охранять его покой...

Карл понимающе наклонял голову и через минуту ушел спать.

Все это повторялось в точности каждый вечер.

Обер-лейтенант, вообще говоря, не страдал бессонницей, но в этот вечер после горячей ванны он долго не мог уснуть.

Он ворочался, сопел, вздыхал.

Поскорее бы окончилась эта дьявольская война, и можно было бы начать устраиваться по-настоящему.

Надо только поскорее утихомирить этих упрямых русских, и тогда жизнь пошла бы нормально.

Господин Эшке не стал бы искать себе другого места. Он мог бы остаться даже в Вене, вот в этом самом доме. Разве это плохой дом? Он перевез бы сюда Луизу и детей — Карла и Вилли. Луиза давно мечтает о тихой жизни. Чем здесь не тихая жизнь? Ведь не вечно будут греметь пушки? Партизаны? Но это только во время войны. А потом не будет никаких партизан. Будут работники.

Может быть, после войны господин Эшке не будет слишком суров к этим бывшим хозяевам его, господина Эшке, дома. Очень возможно, что он оставит их у себя в работниках, и они будут всю жизнь благодарны ему за то, что он не убил их и не выгнал, а дал возможность жить...

Где-то совсем близко загремели танки.

Обер-лейтенант прислушался и улыбнулся.

Это гремели немецкие танки. Они расположились как раз позади дома господина Эшке. Они охраняют его благополучие. И, видимо, будут охранять.

Он оснует здесь большую молочную ферму и будет вывозить молоко в Москву.

Луиза будет счастлива...

И на этом господин Эшке уснул.

Он спал, утонувши в хозяйских перинах. Ему было душно. Он разметался во сне.

Но вдруг в этот семейный сон ворвался майор Штрайх. Всклокоченный, грозный, он вдруг начал выгонять обер-лейтенанта из его дома.

Обер-лейтенант был удивлен и видом майора, и его поведением, и больше всего тем, что майор почему-то ругал его не по-немецки, а по-русски.

— Выходи! — кричал майор. — Выходи или я тебя...

Майор кричал так оглушительно, что обер-лейтенант даже проснулся от этого крика и, к несказанному своему удивлению, увидел, что перед ним, господином Эшке, стоит не майор, а старик Бахмачев.

— Выходи! — кричал старик Бахмачев, и в руках у него был топор.

Эшке стал искать под подушкой револьвер, но его не оказалось, и одежды тоже не было около него.

Голый господин Эшке выпростал ноги из-под одеяла и крикнул три раза, как ворона:

— Карл! Карл! Карл!

Но никто ему не ответил.

А старик Бахмачев спокойно сказал:

— Ну, выходишь, что ли, рыжий дьявол?

И спокойствие это больше топора напугало господина Эшке. Он понял, что произошло что-то непоправимое.

Он накинул на себя одеяло и молча пошел из спальни, но старик сдернул с него одеяло.

Не сказав ни слова, голый обер-лейтенант поднял с пола дырявый коврик и, прикрывшись им, пошел на кухню. Он надеялся, может быть, найти своего верного Карла.

Карла, однако, нигде не было.

А старик Бахмачев стоял, вооруженный плотницким топором, и по глазам его было видно, что достаточно будет обер-лейтенанту сделать одно подозрительное движение, как старик немедленно приведет в действие этот страшный русский инструмент.

— Выходи! — еще раз повторил старик.

И если господин Эшке правильно понял, старик приглашал его, голого, выйти прямо на улицу, на снег. Но ведь он недавно принял горячую ванну, ведь он может простудиться.

— Выходи, последний раз прошу, — сказал старик. — Оглох, что ли?

И господин Эшке наконец повиновался.

Он вышел на заснеженное крыльцо.

Пал хлопьями мокрый снег.

Почти у самого крыльца прогремел выстрел. Господин Эшке попятился к двери, но старик толкнул его.

И, ужасаясь своему будущему, обер-лейтенант поставил голую ногу в глубокий снег.

Позади дома, где стояли немецкие танки, было видно багровое зарево, а вдоль улицы с криком и цоканьем скакали всадники.

Обер-лейтенант взгляделся в них и, повернувшись к старику, как бы объясняя ему и жалуясь, закричал:

— Казакен! Казакен!

— Я не слепой, — сказал старик. — Я сам вижу, что казаки. Я же тебя для этого и побеспокоил, чтобы казакам сдать. А как же?

— Зима. Мой одежда, мой одежда.

Но старик уже держал в руках его одежду, его офицерский мундир. Он бросил их ему.

— Найд, — сказал немец. — Я хотел ваша одежда. Я есть ваш арбайтер, работник, слуга...

— Ну, это ты лишнее говоришь, — сказал старик. — Мне работники пока не требуются. Я еще, слава богу, сам работник, дай бог всякому. А ты давай выходи со двора. Нагляделся я на вас, немцев, достаточно. Будет. Пусть с тобой казаки займутся...

И, так как собеседников подходящих не было, старик посмотрел на пса Баритона, с рычаньем выползавшего в этот момент из своей конуры, и сказал ему:

— Чего захотели, а? Москву захотели взять. Ну разве ж это мыслимое дело? Мелкий больно народ-то...

Декабрь 1941 года

---

## ДУЭЛЬ

Иван Торопов стоял на посту у шоссе. А вокруг бушевала весна, как бушует она все эти дни в потревоженных войной подмосковных лесах.

Но война уже отодвинулась от лесов подмосковья, и тут, где стоял часовой, не слышно было даже артиллерийского гула.

Иван Торопов стоял у шоссе и смотрел туда, где поблескивающий под солнцем мокрый асфальт сливался с голубеющим небом. По этой дороге он шесть месяцев назад приехал сюда из Сибири, был в боях, лежал два раза в госпитале.

А сейчас все это осталось далеко позади. И позади как будто осталась война, с ее грохотом, треском и внезапной летучей смертью.

Здесь было тихо, солнечно, мирно. Часового томила тишина, от которой, таежный человек, он отвык в последние месяцы, и в мечтательной тишине ему думалось теперь, что и война, может быть, никогда не начиналась и он никогда не уезжал из Сибири.

В подмосковных лесах растут почти такие же сосны и ели, как в тайге, и так же пахнут они по весне, и так же дышит влажная земля, и среди кустов шевелится туман.

Белка линяет сейчас в тайге. Голодная, она ищет кедровый орех, затерявшийся где-то под мокрой хвоей, под прошлогодней травой. Бить ее жалко в такое время, да и смысла никакого нету. Шубка у нее сейчас в лохмотьях.

Иван Торопов никогда не гнался за таким товаром. Он убил в своей жизни не одну сотню белок, и все это были белки первый сорт. И еще он, наверно, много убьет их, когда кончится война и он уедет обратно в Сибирь, в деревню Оёк, что под Иркутском.

В Сибири у него два сына, четырех и двух лет. Вот они подрастут, и он будет водить их на охоту, будет учить их охотничьей хитрости и сноровке. Белку, напри-

мер, надо бить в глаз, тогда неиспорченная шкурка у нее будет первый сорт. Чего? Глаз у белки не видно? Шибко маленькие у белки глаза? Это ничего не значит. Надо приглядеться, на то и охотник.

И в мечте Ивану Торопову виделись его маленькие сыновья большими парнями, такими, же рослыми, как он сам — их родитель. Он их видел с собой на охоте.

Над шоссе кричали вороны, и крик их снова возвращал часового в мир реальных вещей. Он заметил, что вороны прицеливаются к какой-то куче. Из кучи торчали сапоги и руки, как в сучьях.

Часовой знал, что это немцы, убитые еще зимой, вынуты сейчас из придорожных кюветов, из лесной чащи и собраны тут перед тем, как будут закопаны в землю. В стороне красноармейцы копают могилу. Озорный красноармеец лопатой пугает ворон.

Зимой тут шли бои, а теперь — тишина и благодать и шумят только весенние ручьи да противно каркают вороны, учуявшие мертвечину. И в воздух, смолистый, густой, ароматный, проникают сладковатые струйки трупного запаха.

А надо всем этим голубеет чистое, нежное, обогретое солнцем небо, и не хочется верить, что невдалеке отсюда еще идут кровопролитные бои. Идут вокруг вот этого же шоссе.

В небе кружит, распластавшись в синеве, крупный ястреб. Часовой поднял голову, смотрит на него и думает, что ястреб сильно походит на истребитель. Наши истребители народ любовно так и называет «ястребками».

Часовой смотрит на ястреба и не видит, как из-за леса появляется настоящий истребитель. Часовой только слышит нарастающий шум мотора и медленно поворачивает голову. Истребитель, наверно, наш. Но зачем он стреляет?

Иван Торопов вглядывается в него острым охотничьим глазом и наконец явственно различает на нем фашистские знаки. Чего ему надо тут, в кого он стреляет?

Хорошо бы все-таки часовому укрыться куда-нибудь на всякий случай. Вдруг немец сослепу попадет в него, убить может. Но укрыться некуда, да и нельзя часовому уходить с поста.

Часовой смотрит в небо, заслонив глаза от солнца ладонью. А истребитель все стреляет и снижается. И часо-

вой чувствует, как на плече, под шинелью, потекло у него что-то теплое и густое. Истребитель стреляет в него.

Иван Торопов вскидывает винтовку.

— Эх, мать честная, в какое место целиться-то, не знаю, ведь стальной он, дьявол: не пробьешь, однако, пульей-то его.

Но Иван Торопов все-таки стреляет в самолет. И под ясным небом завязывается неравная дуэль. Немец кружит над часовым, как те вороны, и свистят пули, вгрызаясь в асфальт, в шоссе.

В ответ на множество пуль истребителя часовой может выпустить только одну, потом другую, третью, четвертую, пятую. И обойма — пустая.

Иван Торопов неторопливо заправляет вторую обойму. Он не чувствует теперь, как теплые струйки крови пробиваются у него под шинелью, под гимнастеркой.

«Голову бы он мне только не попортил, — тревожно думает Иван Торопов. — Я ведь, однако, обратно потом поеду в Сибирь».

И снова, старательно прицеливаясь, стреляет Иван Торопов.

Пускай бы он ниже спустился, немец. Видно было бы хоть летчика, а то что ж так палить в божий свет, как в копейку. Не видно ничего, и патронов не наберешься.

А у немца патронов, наверно, много. Он уже выпустил в часового несколько очередей и не очень тревожится, должно быть, что не все пули попадут в часового. Но все-таки удивительно, что часовой там стоит, при шоссе, до сих пор.

А может быть, это вовсе не часовой, может быть, это памятник, монумент. Часовой давно уже должен упасть. Чудес не бывает.

Чтобы еще раз убедиться в этом, истребитель снизился до бреющего полета и в тот же момент, кувыркнувшись, врезался металлическим носом в кювет около той кучи мертвых немцев, над которой только что кружили вороны.

Через мгновение упал и часовой Иван Торопов.

А когда его подняли, оказалось, что он получил тридцать восемь пулевых ранений, но он все еще жил.

— Попал я в него? — озабоченно спросил он.

— Попал.

— Ну слава богу, — удовлетворенно сказал Иван Торопов и потом, напрягая все силы, медленно добавил с расстановкой: — А я, однако, весь изболел душой. Думаю, неужели я в него не попаду. Ведь я не знаю, в какое слабое место у него целиться. Ведь я в самолеты-то ни разу, однако, не стрелял.

Он виновато улыбнулся, как бы испрашивая прощенья за то, что в самолеты он раньше никогда не стрелял, и с этой виноватой улыбкой умер.

Выше описан, в сущности, рядовой теперь факт из десятков других подобных, о которых пишут сейчас и сами немцы, удивляясь, что русские даже из винтовок сбивают немецкие самолеты.

Автор ничего не прибавил в описании этого рядового факта.

У Ивана Торопова действительно были дети четырех и двух лет — Иван и Михайла. И он часто вспоминал о них в роте и рассказывал, какая у него хорошая жена Анфиса.

Автор только предположил, что он думал о детях и в тот час, когда среди бушующей весны стоял при шоссе на часах.

Автор также допускает, что он вспомнил и о белках, потому что точно известно, что он считался блестящим охотником на белок.

Последние слова его — подлинны.

Обнажимте же головы перед памятью нашего русского рядового и великого земляка Ивана Терентьевича Торопова из деревни Оёк, что под Иркутском, в Сибири.

Западный фронт  
Апрель 1942 г

---

## ПЯТНО

Никто из товарищей не мог бы в точности сказать, где вырос и где оставил семью этот невзрачный на вид, неразговорчивый, тихий и как будто застенчивый Антон Бережков.

Никто не помнит теперь, когда и откуда пришел он сюда, в это стрелковое подразделение, которым командует капитан Князев.

Никто, впрочем, никогда и не спрашивал его об этом. Как-то так не удавалось спросить.

И он сам никого ни о чем не спрашивал...

В землянке в краткие паузы между боями он сидел всегда в сторонке, вечно занятый починкой своих штанов или прилаживанием часто рвущихся ремней на вещевом мешке.

Писем он никому никогда не писал. И неизвестно было, грамотен ли он.

Газет и книг в его руках никто не видел.

А когда с ним разговаривал заместитель политрука, он на все вопросы отвечал кратко и неохотно, уклончиво.

Бывают такие скрытные, тихие люди.

Но когда начинался бой, человек этот немедленно преобразался, становился подвижным и цепким и лез в самое пекло, будто специально отыскивал для себя самое трудное положение в этой достаточно трудной и тяжелой войне.

И заметно было, что драться он умеет, что в боевом азарте он не теряет головы и смелость его постоянно сочетается со сноровкой и ловкостью и природным неистребимым лукавством.

Однажды он прыгнул во время боя в глубокий немецкий окоп, где сидели два солдата и офицер.

Двух солдат, растерявшихся, должно быть, от неожиданности, он заколол штыком.

А офицер свалил его, подмял под себя и стал душить.

Офицер был крупный, тяжелый и толстый, может быть, больше от того, что надел сверху шинели дамскую беличью шубу.

Видно, и дама, носившая когда-то эту шубу, была не из мелких.

Маленький Бережков совсем было исчез под грузной тушей офицера.

Но через мгновение офицер вдруг вскрикнул, дернулся и свалился в мокрую солому, устилавшую глубокий немецкий окоп.

Оказывается, Бережков, полузадушенный, отыскал под беличьей шубой офицерский кинжал и пропорол офицеру брюхо сквозь сложную броню из шинели, мундира и теплой старушечьей вязанки.

В другой раз Бережков оказался наедине с тяжелым немецким танком, прорвавшим наше боевое охранение.

Похоже было, что Бережкова больше нет. Может, танк уже раздавил его.

Но вдруг танк рванулся назад, подпрыгнул и закрутился, и тогда стало ясно, что боец тут, живой и здоровый. Он только прижался к снегу в своем белом маскировочном халате.

Вот он, чуть различимый на снегу, подползает к танку...

Много разного можно рассказать про Бережкова.

Всю зиму батальон под командой капитана Князева, как вся армия наша, начавшая наступление, шел в метель и в мороз по глубоким снегам, пробирався ползком в дыму жгучей поземки, часами и сутками лежал под открытым небом на обледеневшем снегу, блокируя и атакуя узлы немецкого сопротивления.

И под ураганным огнем противника, под кваканье и клекот и визг немецких мин батальон входил в новые, отбитые у немца деревни, где над теплым пепелищем, над развалинами больниц и школ, над опаленными кустами фруктовых садов еще качаются тени повешенных и плачут осиротевшие дети и причитают древние старухи, призывая бога в свидетели неслыханных злодеяний немца.

Никогда не забыть этих зрелищ и никогда не простить. Даже самые отсталые бойцы, охваченные гневом, стануются героями, рвутся вперед, забывая об усталости.

Выносливостью и даже смелостью теперь, пожалуй, не легко удивить.

И все-таки Бережков, рядовой, невзрачный на вид красноармеец, именно этим удивляет многих.

А совсем недавно, вот на этих днях, в апреле, он, казалось, сам превзошел себя.

Немцы пошли в контр-атаку, чтобы способом этим удержать укрепленный пункт, за который уже сутки шел упорный бой.

После того как контр-атака была сбита и наша пехота продвинулась вперед, с правого фланга почти в тылу у наступающих неожиданно заговорили три немецких замаскированных пулемета.

Опасность для нашей пехоты была велика.

И тут Бережков обратил на себя всеобщее внимание.

Под пулеметным огнем, не ожидая приказаний, он быстро пополз в сторону, прорывая в глубоком снегу узенькую траншею.

Вскоре за ним поползли еще три бойца.

Но догнать его было не легко. Он полз, как ящерица, сердито орудуя руками и ногами.

Минут через пять все услышали взрыв гранаты. Потом второй, третий. После этого раздались еще пять или шесть взрывов, но главное уже было сделано Бережковым.

Пулеметы замолчали после трех взрывов.

Пехота снова двинулась вперед.

И Бережков поспешно догонял наступающих, оставляя позади себя на зернистом, предвесеннем, снегу крупные пятна крови.

— Бережков, давай я тебя перевяжу, — говорил ползущий за ним красноармеец, подавивший обиду и зависть: самым ловким в этой операции из всей четверки смельчаков оказался, как всегда, тихий, худенький Бережков.

И сейчас, невзирая на ранения, он все полз и полз вперед.

А вечером, когда немецкие глубокие блиндажи были заняты нашей пехотой, молчаливый этот человек, отказавшийся пойти в медсанбат, перевязанный сидел по своему обыкновению в уголке на бревнышке и, как всегда, был занят починкой своего обмундирования.

Но теперь уже все разговоры были сосредоточены вокруг него, и многие спрашивали, как он чувствует себя. Не лучше ли ему все-таки сходить в медсанбат?

Бережков конфузливо отвечал, что все у него в порядке, что пули только поцарапали его и каску помяли, а так все в порядке.

Вспомнили, что Бережков уже был представлен раньше к медали «За отвагу». И теперь говорили, что, когда он будет получать медаль, ему, наверно, тут же вручат и орден, потому что лейтенант уже доложил про него капитану Князеву. А капитан Князев — человек внимательный и давно знает про Бережкова.

Может, Бережкову, даже звание присвоят.

— Будешь, Бережков, у нас командиром.

Бережков вдруг улыбнулся:

— А вы согласны, чтоб я был?

— Ну что же, — сказали красноармейцы. — Очень приятно. Человек ты смелый, огневой.

Приходили из соседнего взвода и даже из третьей роты приходили спрашивать: что за парень тут, такой отчаянный, у них во втором взводе?

Последним в этот вечер пришел сержант сибиряк Афанасий Балахонов. Он сказал, что сибиряки тоже удивились. Ну, один пулемет заглушить — это понятно. И два — тоже, однако, можно, если они — рядом. Но чтобы три пулемета станковых один человек заглушил — этого еще, однако, не было. И главное — быстро, вот что любодорого. Можно считать — это просто геройство. Привет такому товарищу.

Бережков по-девичьи конфузливо опустил глаза. Похвала сибиряков, видимо, тронула его.

Ведь теперь все знают, что за парни сибиряки. И лучше всех это знает сам немец. Тысячами положили они его под Москвой. Похвала сибиряков стоит многого.

Но, похвалив, Балахонов не уходил. Он присел рядом с героем и, приглядываясь к нему, стал расспрашивать обо всем.

Потом он сказал:

— Я тебя, парень, где-то, однако, видел.

— Не знаю, где, — сказал Бережков.

— И голос мне твой знакомый, — задумчиво произнес сержант.

И вдруг при этих словах в памяти двух людей, может быть, одновременно возникло Минское шоссе не то в октябре, не то в ноябре. Дождь и снег и снова дождь. И

опять снег. Зима и осень и снова зима. И туман, ползущий из леса. А где-то вдалеке бухают пушки.

По шоссе вывозили раненых. А навстречу им двигалась колонна грузовиков, в которых ехали на фронт сибиряки, и на короткое время два потока сблизились, задержались по какой-то причине. Может, там бомбы упали с двух сторон.

Идущие в бой спрашивали вышедших из боя о немце. Немец остервенело рвался к Москве. Он, говорили, уже прорвал передний край нашей обороны. Свежие бойцы закуривали и ждали встречи с немцем. Непонятно еще было, где и когда эта встреча произойдет. Где он сейчас, немец?

В это время из тумана вышел небольшого роста человек в военной шапке и в шинели, подпоясанный, однако, не ремнем, а обрывком провода.

— Разрешите, товарищи, и мне закурить, — сказал он. — Как пострадавшему бойцу.

Видно было, что он не ранен, но винтовки у него не было и с шапки была сорвана звездочка.

— Винтовка-то у тебя где? — спросили его.

— Винтовка, — повторил этот странный человек. И вдруг озлился: — Вы, наверно, еще там не бывали. Вот как побываете...

И, как рыба на берегу, открывал рот, заросший давно не бритой рыжей щетиной.

— Дурак, — сказал ему раненый. — Это ж сибиряки. Чего ты их пугаешь?

А один сибиряк брезгливо взял человека этого за шиворот и спихнул с обочины.

— Что ж на русского человека хуже, чем на немца, бросаетесь? — закричал этот странный человек, снова выползая на шоссе.

— Какой ты русский, — сдержав ярость, сказал ему сибиряк, спихнувший его. — Ты чурка с глазами. Я таких русских из глины могу делать. По три копейки за штуку. Руки только марать не хочу, а пулю жалко...

И странный человек ушел в туман.

Бережков отпираться не стал. Неожиданно прослезившись сейчас, он признался, что все примерно так и было тогда, глубокой осенью, в начале зимы. Он был напуган, отстал от своей части, потерялся в лесу. Пошел в Москву. Говорил людям — вышел, мол, из окружения.

Народ жалел его, угощали, потчевали чем придется. Одна баба пяток яиц ему дала. Дома, может, у нее дети, а она ему пяток яиц — даром:

— На, мол, пожалуйста, дорогой товарищ, ежели ты наш защитник, красный армеец.

Народ повсеместно приветствовал его за это.

И было стыдно ему. Ну с какими глазами он поедет, если, в случае чего, в колхоз, к жене, к детям?

Дети растут, учатся, все понимают. Неужели же он и детям своим будет врать?

В Москве народ в это время собирался на войну, даже бабы окопы рыли и кровь свою сдавали в госпитали.

Побродил Бережков по Москве этак дня полтора, поглядел на все, и постигла его такая смертная тоска, какой наверное, не испытать больше во всю жизнь.

— Чурка с глазами, — сказал ты про меня тогда, — напомнил Бережков сержанту Балахонову. — Может, я действительно как чурка тогда был. Все русские, как русские, а я — как чурка. Подумал я, подумал и пошел обратно на фронт. Ну куда ж деваться-то мне?

Вот тут Бережков и принял, как говорят старухи, всю казнь господню. Шел он на фронт, а его не пускали. Говорил всердцах постовому на шоссе:

— Ведь я не на свадьбу иду, на войну. Чего ты меня задерживаешь?

А постовой говорит:

— Мы на войну тоже не всех пускаем. Проверить тебя надо, что ты есть за человек, каких взглядов...

Приблудился все-таки Бережков к одной части, показал документы, объяснил что, мол, так и так, из окружения, мол, с трудом вышел. Время было горячее, приняли его. Да так он и остался тут.

— А все-таки до сей поры сердце жгет мне пятно, которое положил я тогда на себя с испугу. Не напугает меня теперь немец во веки веков. Нам политрук объяснял, будто сейчас немец грозитя весной. Пусть хоть весной, хоть летом. Нечем ему нас напугать. А за испуг мой первоначальный буду я теперь ему мстить до скончания жизни моей, пока не сниму с себя пятно окончательно.

Балахонов слушал его, потом признался:

— А я, знаешь, тоже тогда затосковал. Почему, думал я, на него пулю пожалел? Казнить надо таких людей, которые с испугу могут и Россию продать. А ты, однако,

вон гляди какой. Действуешь. Сердце просто радуется. Ведь ты кровью своей, как я понимаю, смываешь с себя пятно. Звать-то тебя как?

— Антон Иваныч.

— Ну, действуй, Антон Иваныч, на счастье,— сказал, протянув ему руку, сержант сибиряк Афанасий Балахонев.— Желаю быть с тобой знакомый...

И Бережков заметно повеселел от этих слов.

Он, оказывается, не от природы угрюмый и тихий. Он от смертной тоски своей, от пятна на совести стал угрюмым.

А на самом-то деле он веселый, Антон Бережков.

Западный фронт.  
Апрель 1942 г.

## СОМНИТЕЛЬНАЯ БАБА

Уходя из деревни в сторону Гжатска, немцы по обыкновению оставили после себя грандиозный костер.

Впрочем, главные силы немцев, почуяв свой неизбежный разгром в этом месте, отошли еще в сумерки, до пожара.

А ночью, когда огонь охватил все селение, вокруг огня, приплясывая под ветром на порозовевшем в пламени снегу и вслушиваясь в жуткий собачий вой, стояли только немецкие автоматчики, пятьдесят закутаных в бабьи платки автоматчиков, которым велено было следить, чтоб костер не потух, чтобы русские избы горели ярчайше и страшно.

Однако напор атакующих был так стремителен, что и этим оставшимся немцам не удалось доглядеть конец пожара.

В отблесках зарева, в багровом едком дыму, заслонившем веселые предвесенние звезды, в деревню, опрокинув последний немецкий отряд, входила Красная Армия.

Немецкие автоматчики отходили, отстреливаясь, и, взмахнув руками, будто желая улететь, падали навзничь, как птицы, в растопленный пожаром снег, в грязь и в жижу.

Было это как будто совсем недавно, три недели назад. Была еще зима, дул холодный ветер, разнося по округе дым и пепел и истошный собачий вой.

А сейчас все стремительней наступает весна. В Алексеевке, где из ста трех изб осталось после пожара только восемь, сейчас построены уже четыре новых.

Вся деревня озабочена подготовкой к севу. Все население, все колхозники от малого до старого с рассветом уходят на работу в лес и в поле и трудятся там до поздней ночи.

И ночью, если светит луна.

В деревне остаются только древние старухи да женщины с грудными детьми, родившимися уже на этих днях на освобожденной земле.

Безмолвствует деревня целые дни.

И вот в такое безмолвие в деревню опять забрели немецкие автоматчики.

— Шесть штук, — как сказала, внимательно сосчитав их, вдова Марфа Крюкова. — Шесть фрицев. И все, понимаешь ты, в полном вооружении. При ружьях и гранатах.

Больная Марфа Крюкова, получившая чахотку в немецком плену, греется теперь целыми днями на теплом весеннем солнышке, выполняя ласковый приказ председателя колхоза.

— Грейся, Марфа, — сказал он ей в прошлое воскресенье. — Я тебе это велю прямо в обязательном порядке. Прогревай внутренности. Может, ты еще не помрешь, поправишься. Не все ведь помирают и от чахотки.

И Марфа Крюкова, греясь в порядке приказа, наблюдает теперь за всем, что творится у нее на глазах.

На ее глазах немцы вошли в деревню и, сторожко оглядываясь, прошли мимо бывшего здания клуба, спаленного ими три недели назад.

Немцы были такие, каких она еще не видывала. На всех хорошие зеленые шинели, брезентовые сапоги и суконные шапки. Шинели, правда, сильно измазанные в грязи, и на сапогах много грязи. Видно, они где-то долго ползали, лежали, может быть, в канавах. Не просто ведь пришли они в деревню, как на прогулку. Приходилось им, наверно, таиться в лесу, потому что наши бойцы тут совсем близко стоят и колхозники с топорами работают в лесу.

— Ну чистые волки, — говорила потом про немцев, Марфа Крюкова. — Гляжу я на них, как они по деревне идут, и просто глазам не верю. Ведь они у нас тут зимой больше в бабьих платках ходили, в бабьих шубах. А сейчас опять солдатами обрядились. Но повадка-то у них все равно волчья. Идут, оглядываются, обнюхивают все. Боятся, наверно.

Марфа Крюкова сейчас же следом поща потихоньку за ними, поглядеть, где они остановятся или куда дальше пройдут.

Немцы заглянули в одну избу, потом в другую, в третью и вдруг остановились у избы Ольги Кузнецовой.

Марфа хорошо видела, как им навстречу вышла сама Ольга. Марфа даже заметила, что Ольга улыбнулась немцам.

— Ах, сука,— прямо вслух, не сдержав сердца, подумала про нее Марфа Крюкова. — Мало ей, что немцы нам деревню спалили, — сколько у нас народу перебили, перепортили. Она им еще улыбки строит.

И Марфа сейчас же побежала в правление колхоза, где из всех мужиков остался только один счетовод Михайла Сычов.

Из леса от партизан он вернулся хромым и сейчас мог передвигаться только с помощью костыля. Ну что он может сделать сейчас против шести вооруженных немцев?

Однако Михайла выслушал Марфу, похвалил ее за оперативность, велел ей дальше наблюдать за немцами и за Ольгой Кузнецовой, а в лес к председателю колхоза послал мальчонку Ванюшку Якунина.

— Вали во весь дух. Скажи, чтобы всех мужиков скликали. Немец, мол, проведать нас пришел.

Потом Михайла взял костыли и топор и пошел к той избе, где остановились немцы.

Марфа Крюкова уже собрала кое-какие сведения. Оказывается, Ольга Кузнецова выставила немцам чутунок картошки. Вот подлая баба! Ее на колхозную работу не посылают из жалости, потому что у нее грудное дитя. Картошки ей из колхозного, закопанного в свое время в землю, фонда отпустили, хотя каждая картошка сейчас на особом счету. А она, глядите, добрые люди, картошкой немцев кормит. И немцы, раздевшись, разувшись, сидят вокруг стола.

Немцы, наверно, нисколько не опасаются. Ведь они знают, что в деревне сейчас мужчин нет.

Михайла Сычов был все-таки рассудительнее Марфы Крюковой. Он предположил, что Ольга Кузнецова все это делает, может быть, для отвода немецких глаз.

Она их картошкой кормит, а потом возьмет свое дитя и пойдет в правление колхоза сообщить, что немцы ею заперты.

Всякая женщина бы так сделала.

Но это предположение не подтвердилось.

Ольга Кузнецова не выходила из избы. А Марфа

Крюкова, заглянув в окно и приложив ухо к двери, собрала еще новые сведения.

Оказывается, немцы принесли с собой спирт, как они его всегда с собой носят. Выпивают сейчас и закусывают картошкой с луком. И Ольга Кузнецова с ними, кажется, выпила. По красной роже ее в окно видно, что она выпивши.

— Ну что ж, — скорбно вздохнув, сказал Михайла Сычов. — Я от этой бабы никогда ничего хорошего не ждал. Это самая сомнительная у нас баба в колхозе, Ольга Кузнецова. И политически отсталая.

И Марфа Крюкова вспомнила, и счетовод подтвердил, что женщина эта всегда отличалась странным поведением. Она всегда заводила ненужный шум в колхозе, в позапрошлом году в сельсовет ходила жаловаться, будто ее обсчитали на трудовни, и вообще была многим недовольна.

— Ну, ладно, — сказал Михайла Сычов. — Мы теперь ее больше жалеть не будем. Теперь ей будет полная труба. Отправим ее, как миленькую, на тот свет вместе с немцами. Пускай она с ними там водку пьет и рюмками чокается.

А пока народ из лесу не вернулся, надо проверить, кто из баб и стариков есть в деревне, попробовать окружить избу с немцами и ни под каким видом немцев живыми отсюда не выпускать. В крайнем случае можно даже сжечь избу с немцами. Мало, что ли, немец изб в деревне пожег! Пусть хоть в одной они сами сгорят. И Михайла Сычов пошел выполнять стратегический план.

Марфа Крюкова посидела еще минутку в тени около осажденной ею избы с немцами и, вспомнив, что у нее есть еще одно неотложное дело, тоже отправилась вслед за Михайлой Сычовым.

Уж раз немцы выпивают, значит, они еще не скоро уходить собираются. Ольга Кузнецова, если она такая добрая к немцам, будет, наверно, еще одежду ихнюю чистить и сушить. Ведь измазались они, как черти, пробираясь по лесам.

— Ну, ладно! Погодите, немцы, высушим мы вас, — сказала про себя Марфа Крюкова.

И от огорчения, от потревоженной давней обиды у нее снова горлом пошла кровь. Она присела на бревнышко около бывшей избы-лаборатории, тоже спаленной немцами, и слезы в первый раз за все эти дни брызнули из ее

глаз. Неужели они упустят немцев? Неужели немцы так и уйдут ненаказанные?

Марфа хотела встать и опять пойти к избе Ольги Кузнецовой. Но в ногах у нее, как она потом виновато признавалась, не было уже никакой силы. Она так до сумерек и просидела на бревнышке, в стороне от важного своего поста, на котором оставил ее доверчивый Михайла Сычов.

А в сумерки наконец пришли из леса председатель колхоза и пять колхозников. Марфа Крюкова, собравшись с силами, опять пошла на разведку и выяснила, что немцы, по всей видимости, спят. Выпили и спят. И Марфа даже удивилась их такой странной непредусмотрительности. Хоть бы караул какой-нибудь выставили, дураки.

Потом она еще раз прислушалась, и тишина в избе на этот раз встревожила ее. Может, немцы ушли, пока она сидела там на бревнышке. Господи, что же она наделала-то...

Председатель колхоза сказал, что, как бы там ни было, надо немедленно открывать избу и кончать немцев во что бы то ни стало, может быть, вместе с Ольгой Кузнецовой, уж раз на то пошло.

Михайла Сычов осторожно постучал в дверь. Ольга Кузнецова стала с шумом открывать.

— Тише, — сказал ей шопотом Михайла Сычов. — Ежели ты нарочно шумишь, чтобы немцев встревожить, так имей в виду... Где немцы?

— Вот они, — сказала Ольга шопотом и впустила в избу Михайлу Сычова.

Немцы лежали на полу рядком.

В избу набивался народ. И Марфа Крюкова с трудом протолкнулась сюда. Она, округлив глаза, оглядела немцев и сказала придирчиво:

— Это что же такое? Пять штук всего. А их шесть было. Я же собственными глазами видела. Где шестой-то, Ольга?

— Шестой? — простодушно сказала Ольга Кузнецова. — Шестой у меня в сарайчике.

И она рассказала, что, когда немцы выпили, они поставили часового. Часовой был тоже выпивши. Ольга пошла колоть дрова. Она попросила часового помочь, но он сказал, что это не солдатское дело. Ведь они ничего сами не делают, немцы. И, наверно, не умеют, что ли. Коня

запрячь они не могут, печку разжечь тоже. Все велят дедать бабам. А этого немца, пьяненького, она уговорила все-таки взять топор. Он колет, у него ничего не получается. А Ольга сзади стоит и все выбирает полено по-лучше. Потом выбрала березовое, хорошее и, подумав немножко, тюкнула немца сзади по черепу. И он, как стоял, так и свалился. Все-таки нестойкий они народ, немцы, кве-лый.

— А я женщина слабая, — сказала Ольга Кузнецова. — Я ведь так не могу с мужчиной совладать, ежели он не выпивши. Я им когда картошку-то подавала, взяла да в соль еще волчьего белого порошку прибавила. Прихожу потом из сарайчика-то, а они уж лежат, спят. Я пощупала их, — теплые. Думаю, а как же вдруг они проснутся. Пришлось же мне их опять березовым поленом...

— Олечка, дорогая, — сказала Марфа Крюкова. — Как же ты их не испугалась-то, иродов? У тебя ведь дитя грудное...

— Вот в том-то и дело, — сказала Ольга Кузнецова. — Я боялась, чтобы они дитя у меня не испортили, Володю. Они ведь все думают, что, если мальчик Володя, значит в память Ленина названный. И они тут мне объясняли так, что они пришли издалека и дальше хотели пробиться в русские земли на разведку. Ну, зашли ко мне. Видят — женщина хорошая, веселая. Я им улыбку еще состроила. А что ж мне, Марфуша, делать-то? Я ведь женщина слабая. Я теперь вдова и кругом одна. Куда же мне деваться-то? Я улыбкой их и поборила...

## ЕГОР ИЛИ ВАСИЛИЙ?

В прошлом месяце пулеметчик Егор Мурашов наконец получил долгожданное письмо из дому, из Сибири.

Мать писала ему, что в доме у них все хорошо, все благополучно и, кроме того, Аниса, жена старшего брата Василия, родила мальчика.

Мальчик справный, веселый и походит на дедушку Ивана Григорьевича. Хотели его поначалу назвать Иваном.

Но пока еще никак не назвали, потому что неизвестно, где находится в настоящее время его законный родитель гвардии сержант Василий Мурашов.

Без его согласия как-то неудобно называть дитя. Вдруг он потом скажет, что без него тут самоуправничали, когда он был на войне. Написали ему уже три письма и четыре телеграммы, но ответа никакого не получили. Где он, Василий, что с ним?

Дома, конечно, снимают, что война — не сахар. Всякое могло случиться. Но лучше отписать как следует, что случилось, будет легче. И мать просила Егора Мурашова, как можно скорее, выяснить, где его брат, и немедленно сообщить о нем в Сибирь, в город Усолье.

«Посылаю тебе, Егорушка, — писала мать в конце письма, — мое родительское благословение. Пусть хранит тебя в боях наш сибирский святой Иннокентий, в которого ты, конечно, не веришь, но он все равно тебя должен хранить, раз я ему молюсь каждодневно. И брата твоего Василия тоже должен. И он, наверно, живой и здоровый и в полном порядке, но отписать во-время не успевает, потому что мы тоже не дураки и понимаем, что письма писать там, наверно, не очень хорошая обстановка.

Привет тебе и поклон ото всех. Мать твоя Катерина Михайловна Мурашова».

Пулеметчик Егор Мурашов показал это письмо своему начальству, и начальство нашло уважительной причину, по которой он просил разрешения отлучиться хотя бы часа на два, поискать брата в соседней части, где он встречался с ним недели три назад.

Василий тогда волновался насчет жены своей Анисьи. И теперь ему, конечно, радостно будет узнать, что жена родила и именно мальчика, как он хотел.

Пулеметчик Мурашов тоже не думал, что с братом могло случиться какое-нибудь несчастье. Он шел в соседнюю часть по весенней распутице, по жидкому, израненному артиллерией лесу, уверенный, что встретит брата.

Но в части сказали, что сержант Мурашов сейчас находится в разведке. А писарь, которого пулеметчик угостил закурить, добавил еще по секрету, что разведка чего-то затянулась и никто не знает, когда теперь сержант вернется.

— Но ты заходи сюда в другой раз, — сказал писарь. — Я твоего братанника знаю. Он хороший парень. И если будут какие сведения, я тебе сообщу.

Пулеметчик Мурашов вернулся в свою часть встревоженный. А вдруг действительно Васька пропал? Что тогда он напишет домой?

Встревоженный он прожил весь день и ночью в плохом настроении пошел на свой пост, на передний край, где, лежа в еще по-весеннему голом кустарнике и вглядываясь в сторожкую ночную темноту, прислушиваясь к тишине, продолжал думать о брате.

Потом он стал думать о племяннике, о том, как племянник вырастет, станет рослым мужиком и будет спрашивать своего старенького дядю о подробностях гибели его, племянника, отца.

Ночь была мгlistая. Накрапывал мелкий дождь.

Егор Мурашов притаился во тьме около своего пулемета, выдвинутого далеко вперед, и ждал всяких неожиданностей. Ждал и думал.

Впереди, где-то совсем близко, были немцы, но их не слышно и не видно.

Между немцами и русскими — тишина и тьма, и непролазная весенняя грязь.

И где-то в тылу у врага по этой грязи, по лужам, по лесному перегною, может, ползет сейчас на брюхе в ночи разведчик гвардии сержант Василий Мурашов.

Всю зиму он ползал по тылам врага, по снегу. И сейчас ползает. А может, уже...

Дождь то усиливался, то стихал, то снова усиливался.

Егор Мурашов укутывался в плащ-палатку и не мигая смотрел во тьму, где ничего разглядеть нельзя было, кроме трех кустов осины, одиноко стоявших среди широкого поля.

На этом поле в прошлом году в это время сеяли хлеб и в этом году чуть позднее тоже будут сеять, потому что немцы не удержатся тут долго, как не удержались на том месте, где сидит сейчас пулеметчик Мурашов.

Все время линия фронта продвигается вперед. Иногда ночью продвигается, иногда — на рассвете, иногда — днем. И сегодня, может быть скоро, опять начнется наша атака с левого фланга, или с правого, или с центра.

Война продолжается и в метель и в мороз, и в дождь. И линия фронта все время извивается, как змея.

Немцы сейчас сидят в окопах, ожидая, может быть, что русские вот-вот откроют внезапный огонь. А может, немцы сейчас сами собираются прощупывать русских.

Обманчива тишина на переднем крае, особенно весной, особенно ночью, особенно, когда идет дождь.

Под плащ-палаткой тепло и уютно пулеметчику Мурашову. Он натянул плащ-палатку и на голову, чтобы укрыться от дождя.

Но через мгновение встрепенулся, высвободил ухо, сначала одно, потом другое.

Нет, нельзя с головой закрываться, никак нельзя. А вдруг чего случится? Надо слушать.

И пулеметчик снова вслушивается в тишину.

Позади него чуть слышно чавкает грязь. Пулеметчик Мурашов не шевелится, замер. Грязь чавкает совсем близко.

Пулеметчик потрогал гранату. Ох, как нагрелась она у него на животе. Прямо горячая.

Грязь чавкает позади пулеметчика. Позади — наши, но немец тоже может притти с тыла.

Во-время Егор Мурашов освободил уши. Он напряженно вглядывается в темноту.

И наконец успокаивается. По приметам, только ему понятным, он различает в кромешной тьме политрука. Политрук молча подползает к нему.

— Ну, как дела Мурашов? — шопотом спрашивает политрук.

— Ничего,— шопотом же отвечает Мурашов.

Политрук ложится около него на примятые еловые ветки, и оба молчат. И оба молча вглядываются в темноту.

Пулеметчик хотел бы поговорить сейчас с политруком, рассказать ему про брата, и про племянника, и про Сибирь.

Но говорить нельзя. Ничем нельзя выдавать своего присутствия в этом месте.

Можно только лежать, молчать и думать. И пулеметчик снова думает о своих семейных делах. И так проходят минуты и часы. И проходит ночь.

А перед рассветом впереди вдруг зачавкала и зашевелилась грязь. Пулеметчик чуть приподнялся, весь настороженный, напряженный, будто готовясь к прыжку...

— Фрицы. Фрицы, товарищ политрук,— прошептал он.

— Вижу,— чуть слышно ответил политрук и тоже насторожился.

В темноте уже можно было различить три или четыре фигуры. Одни из них прижались к земле, другие, переваливающиеся на ходу, продвигались вперед.

Вот одна фигура приподняла голову, вглядывается, вслушивается и опять ползет. Она уже близко.

Можно, пожалуй, открывать огонь из пулемета.

Но Егор Мурашов медлит. Политрук тихонько толкает его в плечо. Мурашов, должно быть, не слышит.

Политрук снова толкает его. Первая фигура подползает совсем близко. Между нею и пулеметчиком метров, наверное, двадцать, не больше. Ну, стреляй же, Мурашов! Политрук в третий раз толкает его в плечо.

Мурашов наконец поворачивает голову к политруку. И они понимают друг друга без слов.

Мурашову хочется взять фрицев живьем. Он без слов просит политрука продвинуться к пулемету.

А он, Мурашов, попробует окружить фрицев с тыла. И сию же минуту, по-кошачьи, неслышно, пользуясь прикрытием из кустов, он уползает в сторону.

А еще через минуту политрук слышит его голос впереди в темноте.

— Сдавайтесь, гады,— негромко говорит пулеметчик и добавляет чуть громче еще два-три слова, которые ни по радио не передают, ни в печати не публикуют.

В темноте — молчание. Потом политрук видит, как одна фигура по-медвежьки тяжело выпрямляется, встает на колени.

— Бросай оружие! — говорит пулеметчик. — Бросай...

И опять эти самые слова.

— Наши, что ли? — медленно и удивленно спрашивает фигура.

— Руки вверх! — уже кричит пулеметчик Мурашов.

— Не шуми,— спокойно просит фигура. — Я же спрашиваю, наши, что ли?

— Бросай оружие, тебе говорят! — настаивает пулеметчик и чуть спокойнее спрашивает: — Вы кто такие есть?

— Да это ты, Егорша, что ли, глухарь собачий? — Окосел, что ли? — раздраженно спрашивает фигура.

— Василий?

И в этом слове в голосе пулеметчика сразу совмещаются и радость, и разочарование, и конфуз.

— Это как же я тебя сразу-то не признал, Василий Семеныч? За фрица принял.

Пулеметчик ползет к брату. Между ними громко чавкает грязь.

— погоди,— говорит Василий и снова уползает назад в совсем густую, непроглядную темноту.

Пулеметчик возвращается к политруку. Политрук чуть слышно смеется в темноте. Пулеметчик молчит. Потом говорит задумчиво:

— Бывает какая глупость... а? Брата родного чуть не прикончил. И откуда он взялся, шайтан его знает.

Минуты через три к ним приближается ползком фигура десять — пятнадцать или больше. Всех не различишь в темноте.

Это сержант Мурашов выводит на нашу сторону разведывательную группу, заблудившуюся в ночи между своим и вражеским расположением.

Молча они продвигаются гуськом мимо сторожевого охранения и уползают в наш тыл.

А Егор Мурашов попрежнему лежит у пулемета.

Политрук пробыл около него еще минут десять и тоже уполз.

Егор Мурашов лежит один и думает о странностях судьбы.

Утром гвардии сержант Василий Мурашов, уже доложивший в штабе о результатах разведки, явился чисто выбритый и чуть исхудавший в землянку к брату-пулеметчику, разбудил его и спросил, что слышно из дому.

О ночном происшествии ни старший, ни младший брат не сказали ни слова. будто ночью ничего особенного не произошло.

Сидя на бревнышке, Егор Мурашов рассказывал, не торопясь, по порядку все, что пишет мать, и потом сообщил о рождении племянника.

— Понимаешь, ребенка-то они еще никак не назвали. Все тебя разыскивали. А как же он без имени живет? Надо бы его все-таки назвать.

Василий задумался.

— А, кроме того, — продолжал Егор, — мамаша пишет, что они желают, чтоб мальчишку назвали как-нибудь получше. В том смысле, что, мол, обычай есть называть по какому-нибудь хорошему случаю. Например, она пишет так. Может, у вас в части есть какой-нибудь герой, так вот — она пишет — хорошо бы мальчика, раз он первый, назвать как какого-нибудь героя...

Василий продолжал думать. Потом он сказал.

— Ну что же. Давай назовем Егором. Пускай у нас в семействе будет два Егора. И оба Мурашovy.

— Почему Егором?

— Потому, — сказал Василий почти сердито и помолчал, сколько требовало раздумье. — Потому что, если б трус на твоём месте сегодня ночью сидел, то меня бы, может, больше не было. Он с испугу обязательно бы в меня или гранату кинул, или из пулемета шарахнул.

— Это правильно, — согласился Егор и, тоже помолчав некоторое время, спросил: — А как же тебя нелегкая на меня-то занесла, прямо на пулемет?

— Заблудились мы, — конфузливо объяснил Василий. — Ведь тут, где теперь наши, немцы на прошлой неделе помещались. Ну, мы идем из разведки. Прошли одно место, потом другое, теперь ищем третье, где бы меньше насыщенность была. Вижу я, все как будто в порядке, но кто-то в кустах шевелится. Я думаю — фрицы. Ну, думаю, или так пройдем, или с боем. А лучше всего

если заберем пулеметчика. Я к нему для этого и подползал...

— Значит, Вася, и ты бы меня мог прикончить? — спросил Егор.

— Свободно, — сказал Василий. — Ничего хитрого нету

— Отчаянный ты мужик, Василий Семеныч, — почти-тельно произнес Егор. И потом спросил: — А может, назовем племянника Василием? Пускай у нас в семействе будет два Василия. По-моему, это правильно..

Василий молчал.

Западный фронт.

Май.

## ЗАВТРА

Петух не поет, а кричит на рассвете голосисто, задорно и весело, будто радуясь, что немцы не успели сожрать его.

Всю деревню спалили, а петух остался.

И теперь, когда он кричит на рассвете, кажется, что и деревню никто не сжигал и войны, может, вовсе не было.

Под глубоким снегом, в предутренней темноте, хлопотливо журчит ручей, пахнет прелым прошлогодним листом, землей, дегтем.

Но когда из-за леса поднимается солнце, вместе с ним возникают, как страшные видения, одинокие черные столбы печей, обугленные остовы каменных фундаментов, обрушившиеся и ставшие дыбом железные крыши.

И даже лес, поредевший, исстриженный артиллерией, напоминает, что здесь совсем недавно ураганом прошла война.

Она сравнила с землей добротные русские колхозные избы, изранила, искромсала, обожгла эту землю.

И петух кричит из-под земли, из прикрытой обгоревшим железным листом землянки, где живет теперь его хозяйка-старуха Зотова Катерина Степановна.

Она потеряла мужа, двух сыновей, невестку и внука, замученных немцами, и сберегла только петуха, укрываясь с ним в лесу, согревая его теплом своего старушечьего сердца.

Петух — последний живой свидетель ее бывшего семейного благополучия.

— И с чего он поет, окаянный, — ласково и, пожалуй, почтительно говорит она про него. — Пищи я ему никакой не даю, ведь ничего нету, а он поет и поет. Природа у него, что ли, такая крепкая, веселая...

У петуха, наверно, в самом деле природа такая. Но поет он еще и потому, что подходит весна и он чувствует ее приближение в темном своем подземельи, в узком логове, похожем на могилу.

Весна приходит в свои естественные сроки и на эти обожженные земли, на эти места, которые теперь мы называем Западным фронтом.

Вот здесь на желтом немецком столбике при дороге как будто совсем недавно еще была давно прибитая немцами табличка «Нах Москау» — «На Москву».

Красноармеец из наступавшей части гневно сорвал ее, бросил в снег. Потом, подумав, снова поднял ее, снова прибил к желтому немецкому столбику и, не сильно грамотный, хмуря брови от напряжения, старательно большими буквами написал: «На Берлин».

Наша армия пошла дальше.

Но не все немцы, ставившие эти столбики на израненной ими земле, ушли отсюда. Далеко не все. Из-под глубокого снега и сейчас еще высовываются их ноги, и руки, и заржавевшие каски.

У обочин валяются опрокинутые, разрушенные бомбой и заметенные последней предвесенней вьюгой немецкие пушки, сгоревшие танки с порыжевшим знаком свастики, изрешеченные пулями кузова фашистских автомобилей. И вдоль широкого шоссе за кюветами тянутся длинной шеренгой бесчисленные немецкие кресты, срубленные из наших юных, нежных березок.

Но в России еще много берез, и сосен много, и елей.

Ранним утром заморенная лошаденка, долго, как люди — хозяйева ее, скрывавшаяся от немцев в лесу, тянет из леса в деревню, в колхоз, напрягая все силы, три огромных сосновых, остро пахнущих весной, бревна.

Не вытянуть бы их ей одной, если б в оглобли не вцепились женщины, дети.

Всея деревней, всем колхозом, помогая коню, они тянут из леса эти три огромных бревна.

И притянут еще десять, сорок, тысячу, две, три, сколько надо, чтобы снова восстановить сгоревшую деревню, чтобы вернуть ей прежнюю славу хозяйственного, доброго, пахнущего свежим хлебом богатого селения.

Плотник Злобин Антип Захарович, крепкий, сильный, жилистый старик, скинув полушубок и поплеывая со

страстью в ладони, берет топор и с хрустом весело обтесывает бревно.

Немцы сожгли его избу, расстреляли у оврага его единственного сына и его самого повели было на расстрел.

Но в самый последний момент из трех солдат, которые вели его на тот свет, двух потребовало к себе зачем-то начальство, а одного немца за околицей окружили бабы и слезно просили отпустить старика. Ведь это плотник-то какой знаменитый, его и в Москве даже знают.

— Не губи его, ваше благородие, — умоляли солдата бабы. — Он никому никакого зла не сделал, не губи его, пожалуйста. Побойся греха. А то мы тебя растерзаем...

Но немец не внял их просьбам, пугал их своим автоматом и сердито кричал им, как собакам, какое-то собачье слово: «Цурюк».

Тогда озорная крупная баба Степанида Любина бросилась на немца сзади, свалила его в снег, и с немцем сделали то, что и обещали.

А Антип Захарович Злобин, человек действительно добрый, несмотря на свою фамилию, незлобивый, низко поклонился бабам за спасение своей души, поднял немецкий автомат и ушел в лес к партизанам.

Теперь он обтесывает бревна, из которых будут строиться новые колхозные избы, и на теплом предвесеннем солнце поблескивает его топор, и летят пахучие щепки.

Около него, недалеко, на развалинах колхозной школы поместил горно кузнец Барыкин Михайло Осипович.

Хромой после немецкой пули, он работает, кует болты для плуга, а у наковальни стоят его костыли. Но он должно быть, забыл про них, охваченный азартом труда, по которому давно истосковались душа и руки, тяжелые цепкие руки кузнеца.

Огонь озорно и яростно ворчит в горне. Осиротевший мальчонка лет семи Сережа Пехов старательно раздувает мехи, гордый порученной ему важной и ответственной работой.

Много надо железа, чтобы привести в порядок разрушенное хозяйство, и железо надо найти самим.

У горна лежит остов фашистской пушки, половина танка и тяжелая блестящая деталь бомбардировщика «Юнкерс-88».

Все это, с особого разрешения, приволокли сюда на себе колхозные ребята-школьники. Все это кузнец Барыкин перекует, починит плуги и сеялки, наделает лопат и вил и подкует единственную уцелевшую в колхозе кобылу Люсю.

Весна все стремительнее наступает на эти места. Солнце торопливо растапливает снег, гонит по канавам голубую воду и торопит кузнеца, и плотника, и другой колхозный народ.

Из-под снега все явственней выглядывают ноги и руки, и головы немецких мертвецов, замеченных последней вьюгой.

Их сейчас убирать надо, как можно скорее, хоронить. И на землях этих мы будем сеять хлеб, как сеяли в прошлом году, и в позапрошлом, и тысячу лет назад.

Из Сибири, с Урала, с Волги колхозники пообещали прислать семян, помочь, чем надо, восстановлению разграбленного, разваленного хозяйства.

И, слышно, уже прибывают семена.

Приведут на-днях четверку коней, подаренных в Сызрани. Приведут сюда для развода и коров, и овец, и свиней. Прибудут скоро и породистые куры, чтобы не было скучно петуху старухи Зотовой.

А пока председатель колхоза распорядился, чтобы выдали для петуха немножко зерна из тех запасов, что закопаны были от немцев в лесу, в глубоких ямах. Хозяйка же его, старуха Зотова, потерявшая близких, принята, как было сказано в постановлении, «ввиду древности и преклонности лет — на иждивение колхоза».

Большая и богатая у нас страна, и народ в ней дружный, согласный. И сейчас, во время войны, это чувствуется во всем особенно сильно.

Дружба наша действует и в бою, где взаимная выручка часто спасает наших людей.

И эта же взаимная выручка ободряет людей в эти дни в их великом несчастье на обожженной, на выжженной войной земле.

Из Узбекистана, из Киргизии, из далеких деревень и городов Дальнего Востока приходят сюда письма с выражением сочувствия, с обещанием помочь, с запросами, чем помочь надо в первую очередь.

Из Москвы в воскресенье приехали шефы, женщины, домашние хозяйки и работницы. Они привезли с собой

подарки, собранные от разных неизвестных, пожелавших остаться неизвестными, людей.

Из землянки вылезла худенькая, с навеки испуганными глазами девочка Нюра Петушкова. У нее теперь нет ни матери, ни отца, ни старшей сестры. Их угнали немцы куда-то далеко, в Минск, что ли, и Нюра живет в землянке со старушкой Бубиковой, которой поручено пока наблюдать за Нюрой.

Шефы привезли ребятам ботинки и галоши, и штаны с рубашками.

Нюре достался пестренький ношенный пиджачок, и девочке он пришлось в самую пору. Она надела его, прощлась в нем вокруг землянки, и впалые, страдальческие щечки ее порозовели от счастья.

— Может, я девочку-то у вас заберу, — говорит добродушная, закутанная в мохнатый платок домохозяйка из Москвы. — У меня их трое, все мальчишки. Ну, пусть будет четвертая — девочка. Как-нибудь перебьемся. Муж у меня печник, человек добрый.

— Нет, — твердо ответила старуха Бубикова. — Председатель у нас будет против этого несогласный. Девочка, она тут нужная. Она хорошая, острая девочка. Она только сейчас немножко заморенная, а потом она поправится. Вы что же думаете, мы вечно вот этак жить будем? Мы поправимся, встанем на ноги. А как же, дорогая?

— Ну что же, — сказала, чуть обидевшись, домохозяйка из Москвы. — Как хотите. А я думала, девочке будет лучше у меня. У нас все-таки квартира — с газом, с электричеством!

Старуха Бубикова подозвала девочку:

— Желаеть, Нюрушка, с электричеством жить вот у этой тети?

— Нет, — решительно сказала Нюра. И, должно быть, боясь обидеть приезжую тетю, сейчас же прижалась к ней, поиграла концами ее пухового платка и добавила: — Я никуда не хочу уходить. Я тут хочу. Я за грибами тут в лес ходить буду. Приезжайте, тетенька, к нам. У нас лес хороший...

— У вас в лесу покойники, — улыбнувшись, сказала москвичка. — Смотрите, полный лес покойников немецких...

— А их не будет потом, — твердо сказала девочка. — Покойников ведь потом закопают. И одни живые русские будут ходить.

Большое, тяжелое, страшное горе, постигшее взрослых, постигло и маленькую худенькую Нюру. Но как взрослые, занятые починкой разрушенного, из гордости не плачутся и неохотно вспоминают о том, что случилось с ними, так и девочка охотнее думает о завтрашнем дне.

Завтра еще будут бои, грандиозные и ожесточенные, прольется кровь, сгорят еще новые дома, осиротеют еще многие дети. Но завтра будет победа, обязательно будет, во что бы то ни стало. И на земле, освобожденной от врага, жить станет легче, вольготнее.

Об этом знают взрослые и дети.

В это верует всей силой сердец своих весь народ наш.

И весь народ работает на войну, на победу, на завтра, которое встает и встанет из этих еще теплых пепелищ.

А пока люди озабочены самым необходимым, что требуется для жизни.

Но по тому, как печник Михеев складывает новую печь, стараясь, чтобы каждый кирпич был равномерно и густо обмазан раствором, по тому, как в новой строящейся избе женщины прокладывают для теплоты каждый паз, по тому, как тщательно отбирают выкопанное из ям золотистое зерно для посева, кажется, что фашистские бомбы больше никогда не прилетят сюда, что пожары войны отодвинулись далеко-далеко.

Люди снова устраивают свои гнезда, свое хозяйство с расчетом на десятилетия, на века.

В полдень мы выезжаем из этой деревни на шоссе.

Автомобиль наш опять продвигается мимо длинной шеренги фашистских могил, мимо березовых крестов, мимо оброненных в отступлении немецких касок, мимо брошенных при поспешном бегстве немецких автомобилей, танков, мотоциклеток.

Враг прошел здесь совсем недавно, может быть, всего неделю или несколько дней назад.

В двух километрах от деревни нас останавливает заградительный отряд. Проверка документов. Дальше ехать на автомашине нельзя.

Автомобиль уводят в укрытие, и мы идем пешком.

Молоденький шофер что-то увидел в стороне от шоссе. Вдалеке, метрах в четырехстах от нас, по широкой, уже источенной солнцем снежной целине ползут вперед в белых маскировочных халатах красноармейцы.

— Наверно, они учатся, — вслух думает шофер.

Да, может быть, учатся. И мы, остановившись, смотрим на них.

Но странное дело, почему на учении стреляют с той стороны, почему пули свистят совсем близко и трепещут кусты при шоссе?

— Головы! — тревожно кричит нам кто-то невидимый из кювета.

Мы наклоняем головы, потом ложимся.

Нет, красноармейцы не учатся. Они ведут бой. На целине столкнулись русские разведчики с немецкими.

Впереди, всего в полуторах километрах отсюда, находится передний край нашей обороны.

Война совсем недалеко ушла от выгоревшей деревни Алексеевки.

Вот уже хорошо слышно клекот и кваканье, и визг, и грохот мин. И на снегу впереди вспыхивает красный огонь.

Но в памяти все еще стоит уцелевший от немца исхудавший пестрый петух, который, несмотря ни на что, из всех сил поет о наступающей суровой и нежной русской весне. И в лукошко сыплется золотистое, тщательно отобранное зерно, которым скоро, — вот как сойдет снег и уберут мертвых немцев, — крестьяне засеют обожженную землю, как засевали в прошлом году, и в позапрошлом, и, может быть, тысячу лет назад...

Западный фронт.

Апрель 1942 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

Первые выстрелы . . . . .	3
Линия жизни . . . . .	9
Дом господина Эшке в городе Веневе . . . . .	6С
Дуэль . . . . .	69
Пятно . . . . .	73
Сомнительная баба . . . . .	80
Егор или Василий? . . . . .	86
Завтра . . . . .	93

---

Редактор В. Илвенков

А61262. Подписано к печати 1/VIII 1942 г. Печ. листов 6 $\frac{1}{4}$ . Уч. изд. лист. 5,48. Авт. лист. 5,31. Колич. печатн. знаков в листе 37152. Тираж 15000. Цена 2 руб. 50 коп.

Тип. „Красный печатник“ гос. изд-ва „Искусство“, Москва, ул. 25 Октября, дом 5. Заказ 801.



**Цена 2 р. 50 к.**